

АНДРЕ  
МОРУА

*Сентябрьские  
розы*

АЗБУКА-КЛАССИКА



Андре  
МОПУА

*Сентябрьские  
розы*

*Роман*



Санкт-Петербург

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44  
М 80

André Maurois  
LES ROSES DE SEPTEMBRE

Copyright © Les Héritiers André Maurois, Anne-Mary Charrier,  
Marseille, France, 2006

Перевод с французского Аллы Смирновой

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

### **Моруа А.**

**М 80** Сентябрьские розы : роман / Андре Моруа ; пер. с фр. А. Смирновой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 224 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-10218-7

Андре Моруа, классик французской литературы XX века, автор знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др., считается подлинным мастером психологической прозы.

Впервые на русском языке его поздний роман «Сентябрьские розы», который ни в чем не уступает полюбившимся русскому читателю книгам Моруа «Письма к незнакомке» и «Превратности судьбы». Автор вновь исследует тончайшие проявления человеческих страстей. Герой романа — знаменитый писатель Гийом Фонтен, чьими книгами зачитывается Франция. В его жизни, прекрасно отлаженной заботливой женой, все идет своим чередом. Ему недостает лишь чуда — чуда любви, благодаря которой осень жизни вновь становится весной.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

© А. Смирнова, перевод, 2015  
© Издание на русском языке, оформление.  
ООО «Издательская Группа  
„Азбука-Аттикус“», 2015  
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-10218-7

# *Часть первая*

Есть столько способов сказать правду, не высказав ее до конца! Разве полнейшая отрешенность от всех соблазнов помешает бросить взгляд издалека на те самые соблазны, от которых отрекаешься? И найдется ли человек, владеющий своими чувствами настолько, чтобы поручиться, что к нему в сердце никогда не закрадется сожаление, сыскав лазейку между смирением, которое зависит от нас самих, и забвением, которое нам может принести только время.

*Эжен Фромантен<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> «Доминик», перевод А. Косс.

## I

Вечер был мягким и мгlistым. Они шли по аллеям Булонского леса, по ковру из опавших листьев, отзывающихся на их шаги шелковистым, приглушенным шорохом. Эрве Марсена подумал, что стремительные движения, худощавая фигура, блеск в глазах делают его спутника неожиданно юным. Он попытался заговорить с ним о его книгах. Фонтен остановился и негодуя вскинул к небу трость:

— Ах нет, друг мой, нет!.. Оставим в покое эти несчастные творения. Вам может показаться это притворством, но я их почти все позабыл... Это же вполне естественно. Ведь что такое книга? Мысль, застывшая в определенное мгновение... Автор... э-э... делает слепок своих чувств в некий момент X... Но человек, которого вы встречаете десять, двадцать лет спустя, это человек из времени Y или Z; с автором вашей любимой книги у него нет ничего общего, кроме воспоминаний детства, да и то... Тот Гийом Фонтен, что в убогой комнатке писал свои «Экзерсисы», которые вы изволите расхваливать, мне уже представляется неким незнакомцем... Отсюда и глубокое безразличие писателя к своему прошлому творчеству, невыносимая скука, которую он испытывает, если вынужден перечитывать свои книги... Вы потом в этом сами убедитесь.

— И тем не менее, дорогой мой учитель, Бальзак любил рассуждать о своих героях.

— Бальзак — это редчайший феномен: подлинный романист... А я... Я романист не в большей степени, чем Монтескье, а он-то отнюдь не был таковым.

— Но ваши романы...

— Друг мой, когда вы узнаете меня лучше, то поймете, как появились на свет мои романы. Вам ведь приходилось слышать о безумных и пылких молодых особах, что приходят к мужчине, которым восхищаются, и заявляют ему: «Я хочу от вас ребенка!» Так вот... Представьте теперь, что некая женщина сказала мне: «Я хочу от вас роман», и вы окажетесь недалеко от истины. Я уступил, в таких случаях всегда уступают. Роль Иосифа унижительна... Я, если можно так выразиться, несколько раз согрешил, и мои романы — это проявления моей слабости... Но не могу сказать, что эти мимолетные прихоти имеют для меня хоть какое-то значение.

— А что для вас имеет значение?

— Что имеет значение?

Гийом Фонтен вновь вскинул трость:

— Прежде всего, удовольствие от самого процесса размышления... Не для того, чтобы это описать... Но для себя самого, когда читаешь этих мыслителей... Что имеет значение? Бродить по библиотеке, взять наугад какую-нибудь книгу, переворачивая страницы, неожиданно наткнуться на фразу, которая приведет в восторг; перечесть автора, что был верным спутником юности; испытать радость оттого, что его ты нашел новым, а свои собственные ощущения все теми же... Что имеет значение? Дружба. Но не ревнивая дружба. Дружба, которая основана на взаимном уважении, родстве чувств, особенно если это дружба между мужчиной и женщиной, исполненная чувственности, но при этом не... э-э... не обожженная ревностью.

— Так вы не любите свою работу?

— Люблю, разумеется... Вернее, мне хотелось бы за несколько лет плодотворной лениности произвести на свет какой-нибудь короткий шедевр: «Кандид» или «Цветы зла»... Мне хотелось бы медленно накапливать максимы и характеры. Все мы пишем слишком много. Не потому, что мы сами этого хотим. Нас к этому подталкивают. К тому же надо как-то жить... Вот представьте себе, мой дорогой друг, вы выбираете эту профессию — поскольку ныне это называют профессией, — позвольте же мне обозначить некоторые моральные наставления... Вы не станете им следовать, я и сам не следую им, что не мешает им оставаться превосходными... Не стоит жить в Париже... Приезжайте сюда время от времени, чтобы изучать мир, который вам следует все же знать, но работать надлежит в одиночестве. Никогда не встречайтесь лично с издателем или главным редактором газеты. Завяжите с ними переписку, если в этом есть необходимость, но не принимайте в расчет их поступки или советы... Не стоит заботиться о рыночной стоимости книги. Буало *отдавал* свои книги Клоду Барбену, он их ему не продавал, и если он говорил о Расине:

Когда вы пишете и долго, и упорно,  
Доходы получать потом вам не зазорно...<sup>1</sup>

так это благодаря... э-э... снисходительности друга, который в глубине души осуждал это... Никогда не слушайте советов супруги, любовницы, льстеца... Публикуйте мало... Раскрывайте свою ладонь, только если она полна. И *главное*: заботьтесь прежде всего о форме... Фо-о-орма, друг мой, фо-о-орма... Лишь она одна порука тому, что произведение будет жить долго. Сюжет не значит ничего. Теокрит записывал разгово-

---

<sup>1</sup> Буало Н. Поэтическое искусство. Перевод Э. Линецкой.

ры обычных домохозяек, Цицерон выступал в суде, ведя пошлые административные тяжбы, Паскаль беседовал с воображаемыми иезуитами, подобного рода ученые споры давно ушли в прошлое. Всех этих авторов по прошествии стольких веков читают по-прежнему благодаря отточенной форме... Она одна лишь, уверяю вас, раскрывает индивидуальность человека... Лучше написать поэму, чем роман... Вот я, к примеру, пишу романы, которые отнюдь не являются поэмами. Так я их и не люблю, друг мой, знайте, что я их не люблю. *Video meliora proboque...*<sup>1</sup>

Всю эту тираду он произнес со страстью, расталкивая своей тростью камешки на тропинке.

— Как вы суровы! — воскликнул Эрве. — Ваши романы поэтичны, а что касается формы, их безыскусную простоту я предпочитаю всем этим украшательствам, когда каждое слово сияет собственным блеском, отдельно от прочих.

Они приближались к заставе Сент-Джеймс. Фонтен остановился возле решетки, встав прямо перед молодым человеком, при этом его едва не сбил въезжающий в Булонский лес автомобиль.

— Нет-нет! — запротестовал он. — Оставьте мне, по крайней мере, право самому осознавать свои возможности.

— Но если таковы ваши ощущения, дорогой мой учитель, отчего бы вам не попытаться примириться с собой? Вы достаточно свободны, известны, богаты, чтобы ни от кого не зависеть. Разве вы не можете делать все, что пожелаете?

— Мой добрый друг, — ответил Фонтен, — вы не знаете жизни. Это продажная девка с железным ха-

---

<sup>1</sup> «Вижу доброе и сочувствую ему...» (У этого высказывания имеется продолжение: «...творю же худое».) (Здесь и далее прим. пер.)

рактором. Она обуздает вас, как и всех прочих... И не надо думать, будто я богат!.. Напротив... Некогда я женился, это правда, на богатой женщине, но с тех пор случилась война, и потом это падение франка, в общем, Полина теперь бедна. Но ее вкусы и склонности остались вкусами и склонностями богатой женщины, и, чтобы дать ей возможность жить так, как она привыкла, я вынужден продавать себя... Ну вот!.. Мы и пришли. Надо перейти улицу.

Дом, в котором Гийом Фонтен обитал в Нёйи на углу бульвара Ришар-Валланс и улицы де ла Ферм, находился посреди сада. Вычурная постройка с двустворчатými окнами, причудливыми балконами, крыльцом с волютами: некая помесь поддельной готики, поддельного ренессанса и слишком подлинного стиля 1900-х. Фонтен пригласил своего спутника пройти в сад, который, словно сад префектуры, был засажен фиолетовыми и желтыми анютиными глазками на овальных клумбах. Подняв трость, он с отворачиванием указал на фасад.

— Полюбуйтесь! — произнес он. — Разве это можно назвать жилищем писателя? Такой богатый и такой... э-э... уродливый. Жить надо или в красивом месте, или в келье. Но где взять средства? Моя жена унаследовала это... строение от первого мужа... Порвать с прошлым трудно, даже невозможно... Войдите на минутку... Я вам покажу свое оборонительное сооружение. Ведь надо же как-то обороняться.

Он провел Эрве в вестибюль с колоннами, облицованный, словно холл отеля, белым и черным мрамором, затем, спустившись на несколько ступеней по лестнице, они оказались в библиотеке. Там, выстроившись в бесконечные ряды, сияли золотые переплеты. Фонтен огляделся:

— Здесь, по крайней мере, я сам себе хозяин... Садитесь в кресло, друг мой.

После негромкого стука в дверь появился старик в белоснежной куртке, тучный, торжественный, хитроватый на вид. Он казался мягким и добродушным, как каноник из комедии.

— Мадам велела передать месье, чтобы он не забыл: он ужинает в посольстве, сейчас половина восьмого, а на ужине нужно быть в смокинге.

Гийом Фонтен вздохнул, возвел глаза к небу и повернулся к своему гостю.

— В смокинге, — повторил он. — В смокинге!.. Вот так-то я сам себе хозяин... Смокинг! Мое лакейское одеяние... Словом, вам здесь оставаться еще минут пять, мой добрый друг... Алексис, ступайте, скажите хозяйке, что здесь я повинуюсь музам и выйду отсюда, лишь когда меня заставят обстоятельства.

Алексис, мягко и снисходительно улыбаясь, неслышно направился к двери, а Фонтен вновь обратился к Марсена:

— К черту посольства!.. Опоздание — вежливость художника... Ну да... В художнике ценят не только творчество, но и его протест против условностей. Он должен быть... э-э... воплощением свободы. Буржуа притворно гневается: «Однако же, что они такое говорят, этот Верлен, этот Рембо!» А в глубине души весьма доволен... Кстати, конструктор автомобилей, который частенько приглашает меня на ужин... Как вы его называете? Ну, знаете, тот самый, у которого мы с вами познакомились?..

— Ларивьер?

— Да-да, Ларивьер... Так вот! Этот человек признателен мне хотя бы за то, что я, несмотря на всякого рода принуждения, налагаемые обществом или семейной жизнью, по-прежнему непунктуален, ленив, непредсказуем, между тем как сам он таковым быть не решается... «*Ваша работа!*» — почтительно выражается моя супруга... Работа! Работа — это святое!

«Ты будешь зарабатывать хлеб свой написанием романов», — говорит Господь. Почему? А что, если пуритане ошибались? Что, если жизнь создана для удовольствий? Пуритане богатеют, вместо того чтобы наслаждаться, они не наслаждаются своим богатством. Все это зиждется на ложных постулатах. «Суета сует», — говорит нам Екклесиаст, но сам не верит ни единому слову... Во всяком случае, перечтите его... Вы убедитесь, что Екклесиаст был старым распутником, который на исходе жизни находил особое удовольствие в том, чтобы сетовать и жаловаться.

Таким образом он рассуждал еще не менее получаса и сдался лишь после третьего предупреждения супруги, которая явилась высказать его лично. В вечернем платье, с обнаженными упругими плечами, бриллиантовым полумесяцем в волосах, выглядела она весьма величественно. Ее «бархатистые» глаза, которыми некогда так восхищались газетчики, по-прежнему торжествующе сияли. В ней привлекал незаурядный ум, а нарочитая бестактность, напротив, отталкивала. При взгляде на госпожу Фонтен вспоминались эти робкие высочайшие особы, которые бессознательно причиняют боль. Она взглянула на Эрве с откровенной неприязнью:

— Прошу вас, сударь!.. Позвольте моему мужу одеться. Нам давно пора было выходить... Право же, Гийом, это неразумно...

— Полина, — сказал Гийом, — не будем примешивать разум в дела, где ему вовсе не место... Ну, до свидания, друг мой, и до встречи!

— Да-да, — подтвердила супруга. — Приходите как-нибудь к нам обедать. Это будет наилучший способ увидеть Гийома, не мешая его работе.

При свете луны, поднявшейся уже высоко, вырисовывались короткие резкие тени. Бледные уличные фонари вытянулись вдоль пустынного, бесконечного,

унылого бульвара. Шагая к станции метро, Эрве Марсена размышлял о том, что скрывается за горьким шутовством Фонтена. Зарождающийся бунт или болтливое смирение? И кто такая Полина Фонтен? Добрая советчица или домашний тиран? Он сам не понимал и удивлялся, как случилось, что он, причем так неожиданно быстро, оказался близок к человеку, который прежде казался ему неприступным.

## II

Эдме Ларивьер жила на набережной Бетюн, в обветшалом доме, хотя и в приличной квартире. Эрве Марсена, который вот уже двадцать минут ждал ее возвращения, обратил внимание, что обивка кричащих расцветок, с резкими линиями и углами являла хорошо продуманный диссонанс с деревянными панелями в стиле Людовика XV и белыми китайскими вазами. Между двумя окнами с драпировкой старинного шелка два узора в виде красных амеб обрамляли какой-то синий наклонный рифленый цилиндр. Эрве встал, чтобы прочитать заглавия книг на полках, и вновь почувствовал все тот же кисло-сладкий привкус.

«Моя кухня Эдме, — подумал он, — особа впечатлительная и утонченная».

Манеры этого высокого молодого человека, совсем недавно прибывшего из Лимузена, не имели ничего общего с манерами его современников: понимать людей ему было куда приятнее, чем их порицать.

Выгнутое полотнище, висевшее в дверном проеме, распахнулось. Вошла Эдме в светло-сером, отличавшемся изысканной простотой costume. В сорок лет она сохранила походку юной девушки. Свежий цвет лица, казалось, свидетельствовал о том, что ду-

ша пребывает в мире и покое. Ее чистое, с правильными чертами лицо, светло-желтые глаза, звонкий голос и ясные представления о жизни Эрве находил весьма приятными, но ангельская строгость кузины всегда вызывала у него смутное беспокойство.

— Прости, Эрве, я опоздала.

— Ничего!.. Я любовался твоими картинами.

— У меня прекрасный Вламинк, не правда ли?..

Как твои дела? Ты уже подписал контракт с пресс-службой?

Она взяла на себя роль покровительницы и защитницы провинциального родственника, делающего первые шаги в Париже.

— Да, все в порядке, — ответил он. — Все эти посвящения мне дались непросто.

— Не утруждай себя, все равно их никто не читает. Ты уже получил письма?

— Только одно, но я от него в восторге: от Гийома Фонтена.

— Не может быть! Гийом тебе написал?

— Восхитительное письмо.

— Вот уж льстец... Наш Гийом не особо щедр на письма. Ты восхищаешься им? Мне казалось, он не особо близок вашему поколению.

— Восхищение — не совсем подходящее слово, скорее, некое родство.

— И что? Ты виделся с ним?

— Да, мы гуляли с ним по Булонскому лесу, я даже проводил его до дома.

— Откуда тебя тут же выставила его супруга?

— Нет, там она им вновь завладела... Расскажи мне о ней, Эдме.

Какое-то мгновение она помедлила.

— Полина Фонтен? Я знаю ее уже давно. Она приходила к моим родителям, когда я была еще маленькой девочкой. В те времена она звалась мадам Берш,

ее муж был банкиром, он финансировал папино издательство... Красивая, влиятельная, властная... Что ты хочешь узнать о ней? Урожденная Полина Ланглуа, из университетской среды. Ее отец был ректором в Нанси, философом. Папа опубликовал в своем издательстве «Философский словарь» Ланглуа... Она была воспитана в преподавательской среде, весьма «просвещенная», как говорят люди, которые таковыми не являются... во всяком случае, очень начитанная.

— Почему же она вышла замуж за банкира?

— А почему бы и нет? Я же вышла за конструктора автомобилей. Я не слишком хорошо знаю историю их женитьбы. Это все происходило в Нанси... Берш, который был гораздо старше этой юной особы, предложил ей стать своего рода местной владычицей. Должно быть, семейство Ланглуа очень давило на нее, и Полина, честолюбивая, амбициозная, уступила... Впрочем, Берш был так мил, что умер почти сразу же после свадьбы, оставив двадцатидвухлетней вдове дом в Нанси, еще один дом в Нёйи (тот самый, где сейчас живут супруги Фонтен), загородный дом в Лотарингии и состояние, часть которого она тратит на меценатство: покровительствует литературе — вернее, литераторам.

— Как она познакомилась с Фонтеном?

— Она часто принимала у себя писателей. Думаю, в этом был некий элемент «компенсации»; должно быть, брак с банкиром дочь ректора воспринимала как своего рода поражение. Она заполучила, возможно не к добру, несколько «литературных» знакомств, причем с каждым разом ее гости становились все известнее. Потом у нее в доме появился Гийом Фонтен, и был он таким ярким, что в сравнении с ним все окружающие поблекли. Именно она открыла его и очень этим гордилась. Поначалу она привязалась к нему,

потому что верила в его будущее. Любовь пришла только потом, и эта любовь стала главным в жизни Полины... Это вызывает к ней симпатию... Но она чужовищно ревнива. Нужно защищаться. Впрочем, должна признать, что она-то и создала того Гийома Фонтена, которого все мы знаем.

— Создала! Это преувеличение, Эдме! Ему не нужен был никто, кто бы его *создал*. Его талант проявился задолго до этой встречи.

— О святая наивность! Талант и слава — вещи совершенно разные. Бывает, что они совпадают, но зачастую и расходятся. Есть каста неприкосновенных, стоит такому человеку написать что-то вроде: «Сегодня с утра небо было пасмурным; я решил надеть теплые кальсоны», как все начинают кричать о его гениальности, и есть, напротив, гении, которых признают таковыми только после их смерти.

— Да, разумеется, потому что они сами не желали славы. Стендаль предпочитал строить романтические отношения с Матильдой Дембовской или болтать с Мериме, а не разглагольствовать на разных церемониях. Он и получил то, что хотел. Все в конечном итоге получают то, что хотят.

— Именно... Гийом до Полины словно сознательно избегал успеха. Он вел уединенную жизнь, посвященную поискам счастья, своего личного счастья, в его представлении это чувственность, безделье, чтение, писал он очень мало... Впрочем, сам можешь посмотреть даты. Гийому пятьдесят восемь лет. Что было известно о нем лет двадцать назад? «Диалоги» и «Экзерсисы», сложная литература... Внезапно ритм его жизни меняется: один-два тома в год. Он получает орден, потом другой, докторскую степень Оксфордского университета. Он станет членом Академии, когда Полина того захочет, но для начала ей нужна Нобелевская премия, и он непременно ее получит...

Откуда все эти многочисленные почести? Гийом Фонтен остался все тем же Гийомом Фонтеном, просто Полина все взяла в свои руки.

— А как ей это удалось?

— Она вела тонкую игру, призывала критиков подправлять эпитеты, убеждала тех, кто формирует общественное мнение, трубя о Фонтене, от этикетки *талант* перейти к этикетке *гений*. Привлекла профессоров, в этой среде ее семейство по-прежнему пользовалось авторитетом. Подключила Сорбонну. Поддерживала дружбу с иностранцами. Принуждала своего именитого, но бесхарактерного мужа писать статьи, путешествовать по свету. И вот так, постепенно, подданного муз превратила в знаменитость.

— Какая ты жестокая, Эдме, а на вид такая серьезная и мягкая. К тому же ты несправедлива, в том, что пишет Фонтен, нет ничего вульгарного. И потом, не он искал внимания публики, а, напротив, она сама обратила на него внимание.

— Разумеется. Только не приписывай мне того, чего я не говорила. Наш Гийом отнюдь не глуп, иначе он не сумел бы стать тем, кем стал. Но в том, что он пишет сейчас, чего-то не хватает: чего-то волнующего, загадочного... Говоришь, его романы хорошо написаны? Да, вероятно. Вот только трогают ли они нас так, как его «Экзерсисы»? Не думаю... Заметь, Полина отнюдь не заурядная особа. У меня есть несколько ее писем: они милы, изящны, искусны. Кроме того, она не просто предана Гийому, она его боготворит. Но думаю, по поводу истинных интересов своего супруга она все же ошибается; она побуждает его пожертвовать... как бы лучше выразиться? ...пожертвовать глубиной ради внешнего блеска. А это противоречит истинной природе Гийома. Он начинает осознавать, что это влияние уже мешает ему, искажает

его суть, лишает индивидуальности, и порой он осмеливается бунтовать... Для нее это может стать опасным.

— Вот-вот, на днях, когда мы расположились в библиотеке, жена стала наседать на него по поводу какого-то ужина, а тот упирался.

— Ну вот! Молодец!.. Видишь ли, мы, женщины, своими требованиями и капризами можем довести мужчину до грани, до той критической точки, за которой следует разрыв, но главное, вовремя остановиться и не переходить эту грань. Иначе семье, какой бы она ни была, придет конец. Для Полины Фонтен красный свет еще не загорелся, но зеленый уже погас. Что-то произойдет, смотри внимательнее.

### III

В течение следующих нескольких недель Эрве неоднократно бывал у Фонтена под различными предлогами: взять книгу, попросить совета. В этих визитах он находил удовольствие, в котором главным было не тщеславие, а искренняя привязанность. Фонтен казался ему обеспокоенным, возможно, даже несчастным. Нет, он не жаловался молодому человеку. Слова его по-прежнему были ироничны, но трогательная учтивость, слегка чопорная и манерная, уже не могла скрыть усталость и даже отчаяние.

Все больше привязываясь к Фонтену, Марсена вынужден был признать себе самому, что чувствует некоторое разочарование. Когда-то давно знакомство с Гийомом Фонтеном представлялось вершиной его провинциальных устремлений. И вот внезапно оказалось, что его божество принимает его как друга, почти как равного. Кого он увидел? Человека ироничного

и вечно жалующегося, немного легкомысленного, который, казалось, не способен вести за собой других, а сам нуждается в проводнике. Во что, собственно, верил Фонтен? Что думал он о жизни и смерти? Каковым было его моральное кредо? Политические, религиозные взгляды? Можно было выслушать его многочасовые рассуждения, не узнав о нем ничего нового, потому что, делая шаг в одном направлении, он непременно тут же делал шаг в направлении совершенно противоположном. Впрочем, читатели вполне благосклонно относились к этой его особенности, поскольку Фонтен принадлежал к небольшому числу избранных, чья нерешительность представляется загадочностью, а непостоянство — изяществом.

Эрве давно уже поставил крест на приглашении на обед, которое когда-то, весьма неохотно, высказала госпожа Фонтен, не позаботившись к тому же уточнить конкретную дату, и вдруг эта дата оказалась назначена, да не в каком-нибудь безликом пригласительном билете, а в письме, написанном собственноручно Полиной: его приглашали в воскресенье отобедать «в узком кругу, дабы иметь возможность поговорить откровенно».

«Интересно, — подумал он, — о чем таком откровенном намеревается говорить эта женщина, плохо представляющая себе, что такое откровенность».

Приглашение он принял. Метрдотель с повадками каноника встретил его со сдержанной улыбкой, явно предназначенной не случайному посетителю, но другу дома. Фонтен, как обычно, был рад его видеть. Но — и это было нечто новое — лицо госпожи Фонтен тоже озарила улыбка, когда Эрве появился на пороге. «Странно, — удивился тот. — Можно подумать, она хочет о чем-то меня попросить. Но что я, жалкое создание, могу сделать для этого всемогущего человека?» Тем не менее он не ошибся; едва лишь они сели

за стол в сумрачной — из-за витражей — столовой, как она заговорила:

— Мы пригласили вас одного, месье, потому что нам в голову пришла мысль, которая, надеемся, может вас заинтересовать... Один английский издатель написал моему мужу, что намеревается опубликовать ряд коротких биографий современных писателей. В эту серию он хотел бы включить нескольких французов, в том числе Гийома, а написать эти биографии могли бы молодые авторы... Сопоставить, так сказать, два поколения... что, в общем и целом, вполне удачная мысль. Мы подумали, было бы неплохо, чтобы книга о Гийоме была поручена именно вам, если, конечно, эта работа вас заинтересует. Мы уже имели возможность убедиться, что вы прекрасно знакомы с его творчеством. А что же касается собственно биографии, я готова предоставить вам все необходимые сведения.

Фонтен, который до сих пор не принимал участия в разговоре, казался несколько смущенным. Он вскинул руку.

— Однако же, — обратился он к супруге, — однако же следует узнать, привлекает ли молодого человека этот труд. Он и сам пишет книги. Не понимаю, с какой стати ему заниматься моей жизнью, тем более делать это на заказ.

— О, в самом заказе, — сказал Эрве, — нет, по моему мнению, ничего плохого. Разве самые прекрасные ваши тексты не были написаны на заказ? Я просто сомневаюсь: возможно, профессиональный, признанный критик лучше справится с...

— Речь идет не о критике, — живо откликнулась госпожа Фонтен. — Здесь нужен, скорее, портрет, впечатления на фоне биографического очерка... Вот как я представляю себе эту книгу...

Фонтен нетерпеливо барабанил пальцами по столу.

— Дорогая, — произнес он, — никому не интересно, как *вы* представляете себе книгу. Если он согласится ее написать, это будет *его* книга, и он напишет ее так, как сочтет нужным. Или вы намереваетесь распоряжаться и им... тоже?

Смущенный оттого, что оказался свидетелем семейной ссоры, Эрве впервые принял сторону госпожи Фонтен и попытался перевести разговор на другую тему. Подвигнуть Фонтена на длинный монолог было весьма нетрудно: стоило лишь произнести имя одного из его любимых авторов. Эрве пробормотал что-то о Жубере, и гроза отступила, сменившись безобидным дождиком цитат и забавных историй.

Когда по окончании обеда в гостиную был подан кофе, Полина Фонтен сказала мужу:

— Гийом, не забудьте, вы обещали передать сегодня вечером для публикации ваш доклад о Ронсаре. Времени у вас в обрез.

— Боже мой! — воскликнул Фонтен. — Ну конечно! К тому же Ронсар! Надо, чтобы все было безукоризненно... Простите, друг мой.

Эрве остался наедине с госпожой Фонтен, именно этого она и хотела.

— Так что же? — решительно произнесла она. — Вы согласны написать эту небольшую книжку?

— Если издатель — и герой книги — не против, то да, мадам. Творчество господина Фонтена оказало на мою жизнь такое серьезное влияние...

— Ваша кухня Ларивьер именно это мне и сказала. Вот увидите, когда вы узнаете Гийома получше, то убедитесь, что как человек он так же привлекателен, как и писатель. В нем нет гордыни... Возможно, он слишком скромнен. Впрочем, сейчас речь не об этом... Так вы согласны? Мы напишем эту книгу вместе.

Эрве подскочил. «Только не это, — подумал он, — я не желаю, чтобы она мной распоряжалась, как выразился ее муж!»

Однако вслух он не возразил и подумал, что, возможно, это сотрудничество станет поводом еще больше сблизиться с семейством Фонтен.

#### IV

В самом деле, начиная с того самого дня он получил привилегию регулярно бывать в доме. Часто Полина Фонтен звонила ему утром: «Я нашла несколько документов, которые вам пригодятся, приходите в шесть». Он находил ее в окружении писем и рукописей, которые она анализировала и комментировала с удивительной тонкостью. Она словно разбирала по винтикам все детали интеллектуального и чувственного механизма своего мужа. От этого ее восхищение им не становилось меньше: она верно служила ему, но и себе служила тоже.

Довольно скоро Эрве понял, чего она от него ждет. До женитьбы у Фонтена была долгая связь с одной молодой женщиной, с которой он познакомился в те времена, когда преподавал в Ренне. Судя по фотографиям, она была весьма очаровательна и трогательна и, если верить Полине Фонтен, обладала весьма незаурядным умом. После женитьбы возлюбленного эта несчастная Минни пыталась покончить с собой. Спасенная хирургом, проявившим больше умения, чем сострадания, она покорилась судьбе.

— И что с нею стало? — спросил Эрве у госпожи Фонтен.

— Умерла два года назад. Она вернулась в Бретань и жила там со своей семьей.

Госпожа Фонтен выразила пожелание, чтобы в своей книге Марсена выступил против тех критиков, которые делят творчество ее мужа на два периода и при этом придерживаются мнения, будто его юношеское творчество, то есть творчество периода Минни, более

оригинально и самобытно. Оставшись наедине с Фонтеном, Эрве попытался было затронуть эту тему.

— Ах, друг мой, — задумчиво произнес Фонтен, — если вы захотите изобразить времена моих литературных дебютов, вам придется отдать предпочтение светлым и ярким краскам. В ту пору я не думал о всеобщей злобе, о тщетности наших усилий, о бессмысленности всего сущего. Я доверял всем, и прежде всего себе. Единственное, чего я хотел, это тщательно подбирать эпитеты, а еще сделать так, чтобы в глазах молодой женщины светилось счастье. А сейчас... Искусство? Ну да, конечно, меня это еще развлекает, вот только мою собственную манеру письма знает теперь каждый, я стал как все. Любой подражатель поделится с вами моим рецептом противопоставления эпитетов. Вы сами станете Фонтеном, если пожелаете... Дружба? Чередование невзгод и удач слишком ясно показало мне удручающее непостоянство тех, кому я больше всего доверял.

У него бывали такие дни, когда он только и делал, что сетовал и жаловался.

— Вы неблагодарны, мой дорогой учитель. Если и есть на этой планете существо, которое не имеет права жаловаться... Ваша жена живет только ради вас, ваше творчество, похоже, вас переживет, ваши друзья — самые выдающиеся люди нашего времени. Чего же вы еще хотите?

— Я ничего не хочу, друг мой. Просто жизнь горестна и пуста, вот и все... И все же! Мне осталось десять, возможно, пятнадцать лет жизни. И как же проходят эти неповторимые минуты? Я пишу книгу, в которую сам не верю, принимаю каких-то посторонних людей, которые меня не понимают, а мне бы хотелось мирно наслаждаться последними солнечными лучами, перечитывать любимых поэтов, философов и вновь обрести вкус к жизни, общаясь с молодыми.

— Но теперь, — отозвался Эрве, — я вас не понимаю. Если вы и в самом деле этого хотите, за чем же дело стало? Пишите только ради собственного удовольствия, а что касается молодых, неужели вы, хотя бы на моем примере, не видите, как они были бы рады общению с вами?

— Конечно, друг мой, конечно... Но мне не нужны ученики, я никогда не испытывал желания влиять на чьи-то мысли. Вы — другое дело, вы по доброте душевной готовы выслушивать мои жалобы и мечтания. Вот только вы принимаете меня таким, каков я есть, и не пытаетесь спасти от самого себя. Стараться возродить меня к жизни могли бы только наивные существа, которые говорили бы обо всем и обо всех, только не обо мне... Естественность, почти животная естественность, вот чего я жажду — и чего лишен.

В тот вечер он так жаловался и жалел себя, что на следующий день Марсена не удержался и описал госпуже Фонтен его состояние, намекнув, что перемены в жизни пошли бы на пользу ее супругу.

— Не беспокойтесь, — ответила она, едва заметно пожимая плечами. — Он всегда такой, когда закончил одну книгу и еще не начал другую. Гийом страдает маниакально-депрессивным психозом. У этого заболевания есть различные фазы. Когда он творит, то испытывает эйфорию. Но едва книга закончена, он начинает обдумывать новое произведение, и поначалу это весьма болезненное состояние. Мне столько раз приходилось от него выслушивать, что он стар, исписался, что ему нечего сказать, что новый сюжет ничего не стоит... Я просто слушаю и жду... В один прекрасный момент работа налаживается, настроение улучшается, пессимизм уступает место радостному возбуждению, кризис миновал.

Она говорила это с уверенностью психиатра, описывающего состояние своего пациента.

— Вы знаете его лучше, чем я, мадам. Но не кажется ли вам, что ему бы следовало сменить обстановку, больше общаться с молодежью?

— Понимаю! — с горечью ответила она. — Ваша кузина Ларивьер наговорила вам, будто я чуть ли не лишаю его свободы, что я патологически ревнива, не даю ему общаться с молодыми женщинами и наношу вред его творчеству.

— Эдме не говорила мне ничего подобного!

— Не она, так ее сестра или кто-нибудь еще. Я знаю, о нашей семье рассказывают бог весть что... Если вы чуть лучше нас узнаете, то сами поймете, что они несправедливы. Да, признаю, в начале нашего замужества я ревновала. Теперь Гийом уже немолод, мы женаты уже двадцать пять лет, я даю ему свободу действий. Если он ей не пользуется, значит ему это не нужно. Порой он на какое-то мгновение позволяет себе фантазии, если вдруг получит письмо от какой-нибудь восторженной студентки, потом возвращается за письменный стол, где обретает свое истинное счастье, и ко мне, потому что я один из инструментов его работы, нечто вроде авторучки или словаря Литтре.

Госпожа Фонтен говорила еще долго, Эрве она показала весьма разумной и спокойной, он решил, что, если рассуждать здраво, его друг находится в надежных руках.

## V

У Ларивьеров часто можно было встретить одну молодую художницу, Ванду Неджанин, она делала карандашные портреты и была приятельницей сыновей Эдме. Одевалась она с вызывающей простотой. Эдме, весьма строгая в своих оценках, уважительно

отзывалась о рисунках Ванды и в знак того, что ее отзывы были искренни, даже повесила у себя дома один из ее портретов между работами Шагала и Дюфи.

— Серьезно, Эрве, ты не находишь, что эта девушка по-своему гениальна?

— Со словом *гений* следует обращаться осторожно, — ответил Эрве, — но она, безусловно, очень способная. Откуда она?

— Откуда Ванда?.. Я знаю о ней не больше твоего... Ее семья, они русские, то ли из белых, то ли из розовых, эмигрировала в Париж в революцию. Ванда была воспитана полурусской, полуфранцуженкой, поэтому у нее есть легкий акцент... Такое раскатистое *r*... С тех пор как она начала работать самостоятельно, она съехала от родителей и живет в своей мастерской... На улице Ренн, в глубине двора... Я там была у нее... Она очень красива, поэтому у нее много заказов... Ей позировал Ларрак, патрон Франсуа, а всем известно, что ему не хватает терпения! Не думаю, что ее поклонникам что-то от нее перепадает... Несмотря на свое происхождение, в политике она, как выражаются мои дети, весьма «продвинута»... Честно говоря, думаю, ее протест продиктован скорее некими сентиментальными соображениями, а не идеологическими, но уверена, что нас всех она ненавидит.

Подтверждение этому диагнозу Эрве получил несколько дней спустя. Обратив внимание, что Ванда отмалчивается во время разговора Эдме с подругами по поводу того, как трудно жить в современном мире, он сел с нею рядом и спросил:

— А вы почему молчите?

— Что, по-вашему, я должна говорить? Оскорблять их я не хочу. Но как Эдме Ларивьер и ей подобные могут рассуждать о том, как «трудно жить»? Она знает, что подпись внизу чека даст ей еду, одежду, украшения, ей известно, что для того, чтобы перенестись

из одной точки пространства в другую, ей достаточно сесть в длинную белую машину, поданную прямо к двери, или нажать кнопку лифта... Ее жизнь — это цепочка чудес... Чтобы понять, как бывает «трудно жить», ей нужно подождать автобуса под дождем, подняться пешком на седьмой этаж, а под конец месяца считать и пересчитывать последние оставшиеся франки...

Свою тираду она произнесла вполголоса, со сверкающими от гнева глазами.

— Вы правы, — согласился Эрве. — Но похоже, вы сами тоже отнюдь не бедствуете.

— В этом году дела идут неплохо, — вынуждена была согласиться она. — Но перед этим два года были ужасными... Просто жить не хотелось... В последнее время снобизм окружающих дает мне средства к существованию... Надо этим воспользоваться. Это ненадолго.

Эрве внимательно посмотрел на нее. Черты лица ее были безукоризненны. Черные волосы, причесанные на прямой пробор, подчеркивали их чистоту и совершенство. Ему в голову пришла мысль: английскому издателю для фронтисписа книги нужен портрет Фонтена — так почему бы не заказать его Ванде?

— Гийом Фонтен? — переспросила она. — Я знаю, что он знаменитость, но не прочла ни одной его строчки. Думаете, он хороший писатель? У меня такое впечатление, что это должно быть что-то напыщенное и претенциозное.

— Вы высмеиваете снобизм, — возразил он, — а сами в него впадаете. В вашем узком кружке Фонтен уже не так моден, как прежде, его так долго превозносили, что отныне, похоже, любое новое мнение о нем кажется злословием. Но я *знаю*, и вы узнаете, если потрудитесь его прочесть, что он достояние французской культуры наряду с Шатобрианом или Флобером.

— Я не француженка и не люблю ни Шатобриана, ни Флобера.

— А кого вы любите?

— Я люблю своих соотечественников: Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова... А из ваших?.. Пожалуй, Пруста.

— Прекрасный выбор, но Пруст восхищался Шатобрианом... и Флобером.

Она покачала головой:

— Возможно... Вообще-то, я не так уж и люблю Пруста. Он тоже из тех, для кого жизнь начинается за бульваром Мальзерб. Впрочем, если говорить об этом конкретном деле, мои вкусы совершенно ни при чем. Чтобы написать портрет человека, вовсе не обязательно им восхищаться. Организуйте все, Эрве, я буду очень рада.

— Есть одна проблема: вы слишком красивы. Госпожа Фонтен будет нервничать... Послушайте, она принимает по воскресеньям. Пойдемте к ним вместе со мной.

В узком кругу любое новое лицо поражает, как незнакомая собака на улицах Комбре. Появление Ванды вызвало любопытство. Алексис с немим осуждением разглядывал черный свитер, приподнимающий высокую грудь. Но Полина Фонтен встретила девушку благосклонно. Эдме, принявшая близко к сердцу идею этой английской биографии, заранее подготовила почву, показав ей сделанные Вандой наброски.

— Они великолепны, — согласилась госпожа Фонтен. — Ваша подруга рисует очень точно и тщательно... Она не из тех, кто станет нелепо уродовать лицо Гийома в угоду собственному тщеславию... Это очень хорошая мысль.

В эту первую встречу было решено, что Ванда будет рисовать портрет в Нёйи, в кабинете Фонтена,

чтобы не отвлекать своего натурщика от работы. Две недели спустя, встретив Эрве у Эдме Ларивьер, художница поблагодарила его:

— Знаете, какая удача, что вы мне его нашли... Во-первых, он очень милый, говорит мне кучу комплиментов. Он так хорошо позирует, его застенчивость меня просто умиляет. И потом, вы представить себе не можете, каким авторитетом он пользуется среди моих приятелей.

— Легко могу себе представить, я же вам говорил.

— Да, знаю... Просто я не доверяла вашему вкусу, милый Эрве... Но Боб и Бобби, у которых нюх на все самое современное и модное, пришли в восторг: «Ванда, какую крупную рыбину ты поймала, смотри не упусти».

— А что, эта рыбина пытается ускользнуть? Вот было бы странно.

— Честно говоря, и мне это было бы странно, — ответила она.

Она резко засмеялась. Он обратил внимание, что у нее довольно мощная шея, которая не соответствует изящному лицу.

## VI

Однажды утром в понедельник Полина Фонтен позвонила Эрве. В этом не было ничего необычного, но ее голос удивил молодого человека. Эта сильная женщина казалась взволнованной и встревоженной.

— Мы вчера не виделись — сказала она. — Гийом плохо себя чувствует. У него высокая температура, врач только что ушел, он сказал, что это, похоже, плеврит... Он уже кашлял в пятницу. А вчера вечером, в воскресенье, в такую ужасную погоду, ему непременно понадобилось выйти из дома, он должен был ужи-

нать с каким-то иностранным издателем на Монпарнасе. Машину он не взял, потому что воскресенье, и долго бегал под дождем в поисках такси, в общем, вернулся совсем больной. Теперь лежит в постели, проболует целую неделю, и все по собственной вине.

— Мадам, вы уверены, что это не опасно?

— О, во всяком случае, доктор Голен меня уверил, что нет. Он даже позволил Гийому принять вас, вот почему я звоню... Гийом очень настаивал, чтобы вы пришли именно сегодня. Было бы, конечно, разумнее переждать день-другой, но когда мой муж вобьет себе что-нибудь в голову...

— Я приду днем, мадам. Никаких проблем.

Эрве нашел ее в библиотеке. Она уже получила утреннюю почту и теперь отвечала на самые срочные письма, выводя строчки ровным мужским почерком.

— А! Я очень рада вас видеть. Он уже трижды справлялся, не пришли ли вы... Ведет себя как ребенок... Гийом скверный больной... Идемте!

Она повела его на второй этаж, где ему бывать еще не приходилось. Проходя через переднюю, он рассматривал знаменитых Ватто из коллекции Берша.

— Пройдем через мою спальню, — сказала она.

По обе стороны широкой постели в стиле регентства толстощекие золоченые амуры поддерживали парчовый полог. На стенах вызывающе розовый Буше и портрет Фонтена. Туалетная комната с мозаичными стенами, решетчатыми панелями с ромбовидным узором, где сверкали флаконы граненого стекла с массивными серебряными пробками. Ванна, закрытая чехлом с оборками, показалась Эрве нелепой. Госпожа Фонтен постучала в дверь и открыла ее.

— Вот и он! — обратилась она к мужу.

Фонтен сидел в пижаме, он был плохо выбрит, а волосы, примятые подушкой, топорщились во все стороны.

— Здравствуйте, друг мой, — сказал он, кашляя. — Как любезно с вашей стороны, что вы согласились... Садитесь возле кровати... Полина, дайте ему стул и оставьте нас.

Она усадила Эрве, а сама облокотилась на край кровати.

— Что вы будете есть, Гийом? — спросила она. — Голен сказал, что...

Он нетерпеливо прервал ее:

— Мы поговорим об этом после! А сейчас я вас прошу нас оставить.

Он не мог говорить дальше из-за приступа кашля. Оскорбленная Полина Фонтен настаивать не стала.

— Если я здесь лишняя...

Она вышла через ванную, оставив дверь приоткрытой. Эрве показалось, что она затаилась в соседней комнате. Он едва удержался, чтобы не закрыть дверь за портьерой, но подумал, что, если госпожа Фонтен и в самом деле там, его жест покажется невежливым и даже подозрительным. Гийом Фонтен, не заметивший его смущения, сделал знак приблизиться. Он был возбужден то ли из-за температуры, то ли из-за волнения, лицо покраснелось.

— Садитесь ближе, друг мой, — сказал он вполголоса. — Еще ближе... Мне нужно, чтобы вы оказали мне большую услугу... Сегодня днем я должен был увидеться с нашей Вандой... Да, эта девушка кажется мне очень умной и интересной, я встречаюсь с ней иногда... Сегодня я приглашен на чай в ее мастерскую. Как вы понимаете, я не могу пойти. Нужно ее предупредить... Но как?

— А в чем проблема? — удивился Эрве. — Госпожа Фонтен не знает?..

— Разумеется, нет, она ничего не знает! Она не знает, что вчера вечером я ужинал с Вандой. Понима-

ете, все это совершенно невинно, и я бы ей обо всем рассказал, будь на месте Полины другая женщина, но вы ее не знаете...

Марсена увидел, что Фонтен, возможно из-за лихорадки, говорит слишком много, и попытался положить конец откровенным излияниям, которые могли бы поставить его в затруднительное положение.

— Конечно, дорогой учитель. Я выйду отсюда и сразу же позвоню.

— Спасибо, друг мой... Но это еще не все... Завтра у этой девочки день рождения, я купил ей в подарок небольшой рисунок Пикассо. Сегодня я должен был забрать его в галерею Эзек, вы знаете, это на улице Сены, за Институтом... Вы не могли бы зайти туда за рисунком и передать его Ванде?.. Я выпишу вам чек... Подайте мне, пожалуйста, чековую книжку, она в верхнем ящике комода, а ручка на столе.

Эрве поднялся и через приоткрытую дверь заметил подол черного платья. Полина Фонтен в самом деле находилась в соседней комнате. Вновь усевшись рядом с больным, он, сделав таинственный вид, приложил палец к губам, но Фонтен не понял намека.

— Вот, — сказал он, — я выпишу чек на ваше имя, чтобы избежать вопросов. Вы его «индоссируете», как они выражаются. Ведь вам приятно будет увидеть нашу очаровательную Ванду. Ах, друг мой! Вы даже не представляете себе, что это значит для меня: в моем возрасте вновь обрести... э-э... истинное наслаждение. Смотреть на эту девушку, слушать ее... На прошлой неделе... — (очередной приступ кашля), — я написал об этом стихи. Со мной такого давным-давно не случалось... Нечто вроде «Мариенбадской элегии»... Я потом вам прочту, когда мне станет лучше, но публиковать, разумеется, не стану. *«Эта книга — для добрых, а не для злых»*. Как все же повезло нашему Гёте!

Мне бы хотелось перечитать его переписку с Беттиной...<sup>1</sup> Ему семьдесят лет, ей девятнадцать... Для него это было удивительное возрождение духа... Но он был Гёте, к тому же он был свободен... А я раб.

— Ну, не преувеличивайте, мой дорогой учитель!

— Увы, мой друг, вы... Вы не знаете, что такое госпожа Фонтен! Не думайте только, что я недооцениваю ее добродетели. Она отдала мне все, она жила только ради меня; естественно, что она много и требует. Очень долго она была для меня целебным средством. Вот только со временем его действие утратило свою благотворную силу... Не забывайте, друг мой: женатый мужчина не может развиваться, следуя законам собственной природы. Он имеет право изменяться, то есть жить, только если увлекает в эти изменения свою вторую половину, которая цепляется за его мысли...

Он закашлялся, стал задыхаться.

— Вы слишком много говорите, — сказал Эрве, — вам станет хуже, и потом...

— Пойдите... Еще немного... Когда-нибудь вы это поймете. Вот наша эпоха... Нас ожидает ниспровержение всего и вся. Класс, к которому принадлежим мы с Полиной, обречен, как дворянство накануне Французской революции... Я не говорю, хорошо это или плохо, я просто констатирую... Оставаться молодым — это значит чувствовать все так, как чувствовал в молодости. Принять настоящее — вовсе не означает отринуть прошлое, это означает создать то, что завтра

---

<sup>1</sup> Этими словами открывалось предисловие Беттины фон Арним к первой части ее книги «Переписка Гёте с ребенком». Возможно, Фонтен перепутал двух женщин: Ульрику, которой посвящена «Мариенбадская элегия» (72-летний Гёте влюбился в 17-летнюю Ульрику фон Леветцов во время отдыха в пансионе в Мариенбаде), и Беттину фон Арним, с которой поэт состоял в переписке.

станет прошлым нового мира... Так вот, мне кажется, я готов к этому... Да-да, в самом деле, я нисколько не дорожу всеми этими почестями, богатством, достигнутым общественным положением... Что мне нужно? Побеленная известью келья, матрас, брошенный прямо на пол, питьевая вода и фрукты. Я уже созрел для того, чтобы стать аскетом, друг мой, или пророком... Но я накрепко привязан к каркасу нашего общества, привязан жемчужными ожерельями жены, красными и синими орденскими лентами, которыми она скрутила меня по рукам и ногам. У меня самого никогда не было никаких амбиций! Но эта женщина... Ах, эта женщина... и умная, и ловкая, и верная, и гордая, и настойчивая... Она воспользовалась мной, чтобы добраться до вершины... Вершины чего? И что она там нашла? Эту разодетую толпу, которую она считает блистательной на том лишь основании, что все они сделали удачную карьеру... Карьеру, да, но как говорил кто-то, в каком состоянии?.. Вершины... А что вершины... Вершины пустынно, холодны, покрыты вечными снегами... Если мне не удастся вырваться, я пропал.

— Если вы так чувствуете, дорогой мой учитель, вам надо поменять окружение... Если уж на то пошло, уходите из дому, как Толстой, в этом есть величие.

— Не могу, друг мой. Под каким предлогом? Полина просто идеальная, безупречная жена...

— Безусловно, — нетерпеливо произнес Эрве, — госпожа Фонтен ничего подобного не заслужила. Но она не заслужила и того, чтобы вы отравляли ей жизнь своим дурным настроением.

Молодой человек поднялся и вновь беспокойно покосился на дверь.

— Вы уже уходите? — сказал Фонтен. — Ладно. Только ничего не забудьте... Телефонный звонок, галерея Эзек... Прощайте, друг мой... Жду известий!

На площадке Эрве наткнулся на госпожу Фонтен, которая остановила его твердым, властным и одновременно мученическим взглядом.

— Пройдемте со мной.

## VII

Они молча спустились по лестнице, она впереди, он за ней; направились в одну из комнат первого этажа, размером чуть меньше, чем кабинет Фонтена. Стены были увешаны фотографиями, запечатлевшими чету Фонтен на фоне разнообразных пейзажей и достопримечательностей: возле Пирамид, в Толедо, во Флоренции, в Оксфорде, где Фонтен позировал в докторской мантии, в Веймаре, на кладбище султана Эйюпа в Стамбуле. Самые старые снимки уже пожелтели, но на них можно было различить стройную и юную Полину, ее тонкие черты лица и вышедшую из моды прическу. На последних, более четких, фотографиях фигура Полины стала более грузной, в то время как Фонтен, в тридцать лет выглядевший довольно нелепо в своих укороченных пиджаках, с годами приобретал не только нынешние, знакомые всем черты, но и костюмы более качественного покроя.

Каждый раз, когда госпожа Фонтен увлекала его в это святилище, Эрве Марсена с печалью обозревал слияние двух их жизней, и зрелище это неизменно волновало его. Но сегодня он мог смотреть лишь на бледное, с искаженными чертами лицо стоявшей перед ним женщины. Она почти упала в странное допотопное кресло:

— Я все слышала.

— Я знал, мадам, и... позволю себе одно соображение...

— Нет-нет, прошу вас... Я тоже знала, что вы знаете. Я поняла это по вашим ответам, они были так осмотрительны, вы явно опасались... Возможно, вы мне не поверите, но, когда я оставляла вас наедине с Гийомом, у меня не было ни малейшего намерения подслушивать ваш разговор. Я хотела разобрать в туалетной комнате лекарства, которые мне незадолго до этого принесли. Но, услышав начало этой немыслимой исповеди, я просто потеряла голову; я подумала, что, если открою дверь комнаты, Гийом услышит шум, догадается, что я там, и придет в ярость. В общем, я не решилась... В такие моменты разве осознаешь, что ты делаешь и почему?.. Как бы то ни было, я все слышала. Можете себе представить, какое я испытала потрясение.

Она дрожала, ее нос с широкой переносицей казался вылепленным из воска. Эрве сочувствовал ей от всего сердца, но осознавал, что если в этом конфликте он и должен проявить преданность, так это по отношению к своему учителю.

— Все это весьма прискорбно, мадам. Но тут никто не...

Полина с отчаянием умирающей вцепилась обеими руками в руку молодого человека.

— Это просто ответственность! — воскликнула она. — Я сражаюсь за него, а не за себя. Мне совершенно безразлично, общается он или нет с девицей, которая годится ему в дочери! Уверяю вас, если бы он сам мне об этом сказал, разве я стала бы ему мешать? Да, раньше я была ревнива, и даже очень... А сейчас совсем другое дело!

— Если это и в самом деле так, мадам, я не понимаю, что вас встревожило. Раз уж вы готовы с этим мириться...

— Я была готова мириться с тем, что стареющий мужчина проявляет чувственность, но не с тем, что

он порочит наш брак! Меня потрясло, как он вам меня описал: амбициозная особа, которая воспользовалась им, чтобы добраться до бог знает каких вершин... Он все забыл!.. Когда мы познакомились с Гийомом, он был никому не известным преподавателем, который тогда уже писал, конечно, и неплохо, но читателей у него не было... Как вы думаете, будь я амбициозна, связалась бы я с этим человеком? При чем здесь амбиции? У меня все было. Я была молода и свободна. Принимала у себя дома блестящих политиков и литераторов... Какой мне был прок от этого невзрачного лицейского преподавателя, автора томика нераспроданных эссе?.. Но я любила его, я не *связалась* с ним, я предоставила в его распоряжение все, что у меня было: связи, влияние. Я стала его любовницей, еще не зная, намеревается ли он на мне жениться, а для женщины, воспитанной так, как была воспитана я, это было самым весомым доказательством любви, а это что-то значит, вам придется это признать... Он тоже меня любил... Он вряд ли об этом помнит, но я могу показать письма, которые он в ту пору мне писал...

Заметно волнуясь, она наклонилась над ящиками письменного стола. При этом движении волосы выбились из-под черепахового гребня спутанными прядями. В этой мятущейся, безумной женщине трудно было признать безукоризненную, надменную госпожу Фонтен.

— Ключи, — бормотала она, — где мои ключи?.. Ничего не вижу.

— Вот они, в левом ящике, мадам, но, право, не стоит...

— Не стоит?.. Вы только что выслушали речь обвинения, извольте же выслушать подсудимую.

Из картонной папки она вытащила связку перевязанных ленточкой писем. Эрве узнал почерк Фонтена:

изящный, наклонный, намеренно архаичный. Полина попыталась развязать ленточку.

— Не могу... Вот, месье, читайте...

Смущенный Эрве пробежал глазами несколько писем. Это были банальные и возвышенные, как сама любовь, изливания мужчины, который только что обрел возлюбленную и вдохновение.

Полина Фонтен с вопрошающим и умоляющим видом смотрела на молодого человека. Ему было стыдно читать при ней эти личные письма, и он вернул ей пачку. Казалось, она немного успокоилась и больше не дрожала. Она поднялась, посмотрелась в зеркало и воскликнула:

— Какой ужас! Волосы!.. Прошу прощения.

Она собрала их и скрепила пряди гребнем.

— Возможно, — сказала она, — Гийом в глубине души признает, что значит для него это прошлое. Что же до настоящего, он, похоже, старательно делает вид, будто я мешаю ему соответствовать своему времени!.. Это всего лишь отговорка, благовидный предлог, и он сам прекрасно это знает. Ему просто хочется ласк молоденькой девушки... Я что, консерватор? Реакционер? Какая глупость! Политика наводит на меня тоску... Если бы я думала, что Гийом был бы счастливее, если бы вел жизнь скромную и уединенную, я бы сама сбежала с ним подальше от Парижа... Но он ничего подобного не хочет. Он вам сказал, что ему было бы достаточно *«побеленной известью кельи»*! Это его любимая тема, но это неправда... Ему нужны все эти книги, а дом, заставленный книжными шкафами, содержать, уверяю вас, непросто... Своих вечерних гостей он любит оставлять на ужин, но ужин не может появиться ниоткуда. Мужчины так же мало знают о тайнах кухни, как пассажиры парохода об угольном трюме... Я капитан корабля... Будем говорить прямо: вся эта философия бедности, презрение к успеху,

смирение — это все слова. Разве вы не понимаете, что это все его выдумки?

— Не знаю, мадам. Во всяком случае, он, похоже, сам не отдает себе отчета, что это выдумки... Он полагает, что говорит искренне...

Теперь она была спокойна, и Горгона со взъерошенными волосами опять уступила место госпоже Фонтен.

— Искренне? Не уверена... Вот он жалуется на мои воскресные приемы, а сам *любит* встречаться на них со своими друзьями, *любит* блистать... И кстати, та самая девушка на Монпарнасе, она ведь как раз и устраивает для него все эти собрания... Да, от Доминика, сына Эдме, я узнала, что эта «дева неразумная» на прошлой неделе устроила в своей мастерской коктейль в честь Фонтена! А то, что ее друзья пьют джин, а не чай... Лотреамона читают больше, чем Бодлера... Вопрос времени. Эта мода тоже пройдет.

В этот момент по всему дому разнеслись трели колокольчика, долгие и нетерпеливые.

— Это звонит Гийом, — вздохнула она. — Пойду посмотрю, чего он хочет... Идите выполняйте свое поручение... И проверьте, не забыл ли он подписать чек. Такое с ним часто случается, и тогда бывают всякие проблемы.

## VIII

Пожилая мадам Эзек улыбнулась, когда Марсена протянул ей чек:

— А-а, для господина Фонтена. Ну я ему покажу!

Завладев рисунком, Эрве отправился на улицу Ренн. Ванда открыла ему дверь, одетая в серые брюки и красную блузку, которая удачно оттеняла красивое

лицо и делала ее похожей на Шелли в женском обличе.

— Ванда, это всего-навсего я... Как я вам уже сказал по телефону, наш друг болен... Он просит принять от него ко дню рождения этот рисунок.

— Держу пари, что это Пикассо от мамы Эзек! — воскликнула она. — Очень мило. Входите же, Эрве, положите куда-нибудь пальто, на перила или прямо на пол, и садитесь... Да, это и в самом деле Пикассо... Какой душка этот Гийом! Мне так жаль, что он заболел. А это, часом, не супруга заставила его заболеть?

— Уверю вас, Ванда, когда я его видел, он метался в жару, кашлял так, что грудь разрывалась, и очень переживал, что не может встретиться с вами... Но раз уж вы сами заговорили о госпоже Фонтен, должен вам прояснить ситуацию.

— Какую ситуацию?

— Какую создали вы сами, когда вклинились между двумя половинками этой четы... Да, милая Ванда! Вольно или невольно, но вы породили драму. Сегодня утром Полина Фонтен просто разрыдалась у меня на глазах, потому что услышала из соседней комнаты то, что говорил мне ее муж.

— А что он говорил? Какой вы сегодня странный, Эрве, изъясняетесь загадками. Скажите уж наконец то, что хотите сказать!.. *Что* именно вам говорил Гийом?

— Жаловался на семейную жизнь, на то, что чувствует себя чужим в этом мире, расхваливал вас, в общем, наговорил кучу вещей, которые его жене неприятно было слышать.

— Это наказание за то, что подслушивала под дверью.

— Нет, в самом деле... Уверю вас, она меня очень растрогала.

Ванда решительно зажгла сигарету:

— И что? К чему вы клоните?

— Это скорее у *вас* я должен спросить, к чему *вы* клоните? Зачем вам эта победа? В самом деле, не собираетесь же вы, молодая и красивая, заставить шестидесятилетнего Гийома Фонтена развестись и жениться на вас?

— Вы же знаете, я вообще против официальных браков. Таких независимых, как я, еще поискать.

— Но в качестве любовника он вам тоже не нужен?

— Мой милый Эрве, скажу вам одну вещь, которая вас, вероятно, удивит: у меня нет *никаких* планов. Вы спрашиваете меня, зачем мне эта победа?.. Прежде всего, я не рассматриваю это как победу... Я знала, что нравлюсь Фонтену и ему приятно меня видеть. Не предполагала, что это может встревожить его жену. И если, как вы говорите, это победа, могу себя с ней поздравить.

— Но, Ванда, вы же не можете его любить!

— Любить? — переспросила она. — Какое неопределенное слово! Оно означает все, что угодно: животную страсть, нежность, болезнь... И почему я не могу любить Гийома? Вы его не знаете. Когда мы наедине, он такой славный. Смеется, говорит мне комплименты... Мы ездим обедать за город, ужинаем в Париже, где-нибудь в бистро... Бедный Гийом! Он ищет разные предлоги, такие наивные, чтобы только оказаться ко мне поближе, взять за руку, обнять за талию... Как это мило. И потом, в нем есть что-то детское, простое, когда он растягивается у меня на диване и говорит: «Сделайте мне приятное», это очень трогательно... Он благодарен за любую мелочь, которую от меня получает. И еще мне кажется, что я имею на него влияние. Я в самом начале сказала ему, что ненавижу взгляды его окружения. А он мне ответил, что это не *его* окружение. Когда он понял, что у меня

имеются некие политические пристрастия, он решил соблазнить меня именно этим... Нет, правда, Эрве, вы представляете, какой это будет потрясающий эффект, когда во время выборов такой человек, как Фонтен, вдруг выскажется о проблемах, которых прежде он и знать не знал... Это будет сен-са-ци-я. Вот этого я и пытаюсь добиться, и если его жена вздумает встать у меня на пути, я ее просто раздавлю.

— Вы хотите сказать, что пойдете даже на то, чтобы отнять у нее мужа?

— Если бы могла, то да, конечно.

— Но это было бы преступлением. Этим вы наверняка убили бы ее, как если бы выстрелили из револьвера.

Она раздраженно вскинулась:

— Преступление? Да есть ли на свете нечто более мерзкое, чем престарелая супружеская чета? История Филемона и Бавкиды у меня вызывает отвращение! В тот момент, когда супруги перестают чувствовать друг к другу подлинное «вожделение», как сказал бы несчастный Гийом, им следует немедленно расстаться... Знаете, я каждое утро встречаю одну пару, которая живет в нашем доме. Консьержка говорит, что они уже сорок лет совершают ежедневную прогулку по утрам!.. Честное слово, Эрве, когда я вижу, как эти две старые развалины молча тащатся по улице, меня просто тошнит.

— Вы полагаете, лучше, если бы каждый из них был одинок? Впрочем, Фонтен отнюдь не старая развалина... Отнюдь... Вам, Ванда, не хватает человеколюбия.

— Напротив! Мне-то как раз человеколюбия хватает, а вот вы банальны и неискренни. Я русская, дорогой мой, потребность в искренности у меня в крови. А вы, французы, подавляете свои желания. Вы сами скрываете от себя собственные чувства и стрем-

ления. Да-да! Вы до последнего вздоха экономите «себе на старость». А когда наступает предсмертная агония, вы осознаете, что остались в дураках, что вы и не жили по-настоящему, а уже слишком поздно, все кончено... Вот от чего я хочу спасти Гийома.

— Убив его жену?

Наклонившись к Эрве, она вызывающе посмотрела ему прямо в глаза:

— Да, я жестока, мой милый Эрве. Я ни секунды не стану колебаться, если придется причинить боль какому-нибудь ничтожному, с моей точки зрения, существу, когда буду уверена, что это поможет мне достигнуть важной цели. О чем вы думаете?

— Я думаю, что вы, наверное, много страдали в своей жизни. Жестокость — это почти всегда реванш за что-то. Так мне кажется.

Она засмеялась:

— Эрве Марсена или исповедник!.. Да, мой дорогой, я много страдала. Уверяю вас, мне нельзя было быть ни слабой, ни слишком чувствительной.

— А теперь?

— Теперь? Как он нетерпелив, этот Эрве! Он хочет знать конец истории, которая едва началась... Вы увидите... Мы увидим... О том, что будет дальше, я знаю не больше вашего... А пока не хотите ли чашку чая? Я купила кекс для Гийома... Ввиду отсутствия учителя угостим ученика. Спьем это на счет общих накладных расходов предприятия.

Пока на крошечной кухне закипал чайник, Эрве жадно рассматривал библиотеку Ванды. У нее имелись великие русские авторы, переводы Хемингуэя, Фолкнера, Гёте на немецком, Рембо, Лотреамон, Мальро, Сартр и на краю полки пять новеньких томиков Фонтена. Он открыл их: были разрезаны лишь первые страницы. Она вернулась.

Они сели пить чай.

## IX

Несколько иллюстрированных журналов опубликовали портрет Фонтена работы Ванды. И фотографию: он позировал рядом со своим изображением. Одни сочли это забавным, другие нелепым. Мадам Фонтен, которая, как поговаривали, очень плохо себя чувствовала, больше нигде не появлялась со своим мужем и не отвечала на телефонные звонки. Не имея от Фонтенов новостей в течение трех недель, Эрве Марсена отправился на улицу де ла Ферм, где его встретил печальный Алексис.

— Месье сам увидит, дом очень изменился. Мадам совсем нехорошо.

Когда Фонтен принял молодого человека, тот сообщил ему, что почти закончил книгу для английского издателя.

— Ах, друг мой! Какая книга? Сейчас не до этого... Меня очень беспокоит Полина. Даже доктор Голлен не понимает, что с ней. Вы скажете, что врачи никогда ничего не понимают, и вообще никто ничего не понимает, но все-таки люди искусства привыкли отводить каждой неприятности свою ячейку с этикеткой, что само по себе успокаивает. Назвать дьявола по имени — это в каком-то смысле... его обезвредить. А болезнь моей жены даже трудно идентифицировать.

— Странно. А какие симптомы?

— Как вам это объяснить? Утром она встает и даже пытается одеться. Потом у нее начинает кружиться голова, она опять ложится в постель и проводит в ней весь день. Когда она собирается поесть, ее тошнит. Я заказываю для нее самые лучшие блюда, которые она когда-то любила. Она не может есть вообще ничего и худеет на глазах... Все это так странно и прискорбно.

Он, казалось, был искренне опечален и пребывал в глубокой растерянности.

— А как ваша работа? — поинтересовался Эрве.

— И не говорите! Я слаб. Лишенный этого волевого начала, которое меня побуждало, я больше не могу ничего делать... Я целыми днями бездельничаю среди моих любимых писателей... Вечером, чтобы забыться, я хожу по ресторанам, в театры, а наша юная подруга Ванда, сочувствуя моему одиночеству, любезно соглашается составить мне компанию.

— А госпожа Фонтен знает об этом?

— Только не от меня, друг мой!.. Я никогда ей об этом не говорю, надеюсь, что и другие не проявят жестокости и ничего не скажут. Впрочем, Полина никого не принимает.

Когда Эрве передал этот разговор Эдме Ларивьер, та стала бранить обеих женщин.

— Мне жаль Полину, — сказала она решительно, — но она пожинает то, что посеяла. Она стремилась держать мужа на поводке, естественно, что он захотел сбежать. Будь у нее побольше юмора и снисходительности, она могла бы спасти главное. Но она решила заполучить все и сразу, а теперь рискует все потерять. Она это чувствует и будет разыгрывать козырную карту: болезнь, чтобы сочувствием к себе добиться того, чего ей не удалось добиться привязанностью и любовью.

— Но что ты говоришь, Эдме, госпожа Фонтен не разыгрывает комедию!.. Ее наблюдает доктор Голен, а он не шарлатан и не станет ей потворствовать, он весьма обеспокоен. Считает, что она серьезно больна.

— Я тоже так считаю. Как говорил Талейран: «Госпожа де Дино приняла решение хорошо себя чувствовать и выздороветь». А госпожа Фонтен приняла решение плохо себя чувствовать и болеть. Когда жен-

щинам нужно, они заболевают «по-настоящему», как сказал бы Гийом. Они даже способны умереть из гордости.

— А почему не сказать *от любви*?

— В этом нет противоречия... Что же касается нашей милой Ванды, она тверда и нестибаема, как стальная балка. Она уверена, что Фонтен может быть ей полезен... Она бы предпочла более молодого человека, но случай предоставил ей Фонтена. Прекрасно! Фонтен — это ее козырь, и ничто не заставит ее прекратить игру... В конце концов, мы тут ничего не можем поделать... Пожалуй, я рада, что ты рассказал мне об этом, я хочу, чтобы ты помог мне разрешить довольно деликатную проблему... Бертье, ну, ты его знаешь, журналист, с которым ты однажды здесь обедал, хочет встретиться с Фонтеном. А я хочу оказать услугу Бертье, он в своих статьях по отношению к нам всегда очень корректен. Но вот в чем проблема: с тех пор как Полина перестала куда-либо ходить, Гийом, попав под чары своей юной красавицы, принимает приглашения на обеды и ужины только в том случае, если приглашают и его возлюбленную тоже. Я считаю это проявлением дурного вкуса... Но это так... Я попыталась пригласить его без нее, так он придумал какой-то совершенно неправдоподобный предлог для отказа. А ведь он так привязан ко мне! И все его подружки: Элен де Тианж, Клер Менетрие, Изабель Шмитт, все они тоже получили отказ. Зато у Денизы Олманн, которая уступила его капризу и даже сама однажды появилась на улице Ренн, парочка обедала три раза за последний месяц! Я не одобряю его поведения, но что толку? Гийом такой, каков он есть... Впрочем, я хочу всего-то-навсего принять малышку: она талантлива, у нее большое будущее... Вот только Полина... если она узнает, то никогда меня

не простит и, в сущности, будет права. Мне кажется бесчестным воспользоваться ее болезнью, чтобы пригласить ее мужа с другой женщиной. Что ты об этом думаешь?

— Я думаю то же, что и ты: это не по-дружески по отношению к госпоже Фонтен, только, боюсь, ты все равно это сделаешь.

— Ты сообразительный, — рассмеялась она. — Приходи обедать во вторник с Фонтеном, Вандой и Бертье.

— Ты уже приняла решение? Тогда зачем тебе нужно было мое мнение?

— Если бы ты отреагировал более резко, я бы не стала тебя впутывать, но твоя реакция оказалась вполне умеренной; не знаю, понял ты это сам или нет.

— Послушай, Эдме, что я, по-твоему, должен делать? Вы все уступаете... И потом, ситуация довольно непростая. Если бы я знал *только* мадам Фонтен, я бы отказался видеться с той, другой. Но с Вандой я знаком тоже, это моя приятельница. Как тут выбирать, на чьей я стороне?

— Мой славный Эрве, когда нужно оправдать дурной поступок, уверяю тебя, аргументы всегда найдутся. Я лично думаю, что признать собственное малодушие будет более честно.

— Это никакое не малодушие, — возмутился Эрве. — В конце концов, из них двоих в этой супружеской чете Гийом Фонтен для меня важнее.

Она засмеялась:

— Ох уж эти мужчины!.. Лишь бы не высказать правды.

Во время обеда Ванда говорила мало, но всякий раз, произнося какую-нибудь фразу, нарочитым *мы* подчеркивала свои права на Фонтена.

— Мы ужинали на площади Тертр... Завтра мы пойдем на выставку картин из коллекции Комарова...

Эрве поинтересовался, когда откроется выставка портретов, которые она должна была сделать для галереи Эзек.

— Вернисаж будет восьмого июня, — гордо сообщила она, — а предисловие к каталогу напишет Гийом.

— Я думаю, с его стороны это было бы большой ошибкой, — сухо заметила Эдме.

— Отчего же, позвольте узнать? — не согласилась Ванда. — Такое делали и Клодель, и Валери, и десятки других.

— Это совсем другое дело, — ответила Эдме.

— Почему другое?

— Ладно, коль скоро вы настаиваете, буду откровенна: потому что всем известно, с каким восхищением относится к вам ваш друг. Все скажут, что он написал это предисловие из любезности, от этого не будет хорошо ни вам, ни ему.

Ванда побледнела от гнева.

— Так вы полагаете, — спросила она, грассируя заметнее, чем обычно, — что Клодель или Валери не восхищались художниками, которых восхваляли?

Эдме пожала плечами:

— Вы прекрасно знаете, слову *восхищение* мы придаем разный смысл.

После чего она поспешила сменить тему разговора. Ей не хотелось ссориться с парой, которая, похоже, расставаться не собиралась. Гийом Фонтен был во власти чувств и выглядел вполне счастливым, за исключением тех моментов, когда у него справлялись о здоровье Полины. Тогда он мрачнел, что вполне соответствовало ситуации, и возводил глаза к небу.

Они с Вандой ушли, как и пришли, вместе.

Полине Фонтен стало известно про обед у Ларивьер. Она имела бурные объяснения с Гийомом, а затем и с Эдме, которую пригласила на улицу де ла Ферм. В течение последующих нескольких дней Фонтен проявлял осмотрительность. Он продолжал наносить визиты Ванде в ее мастерской, но уже не настаивал, чтобы их приглашали вместе. Однажды вечером он попросил Эрве Марсена навестить его в Нёйи, чтобы скрасить одиночество и разделить ужин. После ужина он увлек молодого человека в сад и там, под звездным небом, сделал грустное признание:

— Ах, друг мой! Представьте себе, я, эпикуреец, совершенно не созданный для трагедий, оказался вдруг в... э-э... корнелевской ситуации. Да-да, именно корнелевской, другого слова не подобрать, ведь вы же понимаете, только бессовестный, неблагодарный человек может забыть подлинную преданность, любовь, которая если и была излишне требовательной, то лишь оттого, что не знала границ... Но все же какое отчаяние я бы испытал, если бы пришлось отказаться от этого чувства, последнего сполоха пламени, озарившего давно погасшее сердце. Право же, мой славный друг, о моих невзгодах мне следовало бы слагать стансы, столь же... патетические, как стансы дона Родриго, потому что препятствие — это моя супруга, а та, что ее оскорбляет, — моя возлюбленная.

— Но что произошло? Уверяю вас, я совершенно не в курсе ваших любовных дел.

— Увы! Это все непросто. Полине с каждым днем становится все хуже, нет никаких сомнений. Она отказывается от пищи и худеет, на нее больно смотреть. Она уже потеряла двенадцать, пятнадцать килограммов... Это что-то ужасное... Доктор Голен не скрывает

ет от меня, что опасается худшего. Полина переносит все стоически, но меня не обманешь. Это, безусловно, болезнь души, а не тела: стоило мне на прошедшей неделе отказаться от всех приглашений и не покидать дома, доктора тут же констатировали некоторое улучшение, которое они, как и все представители их профессии, приписывают исключительно своему... э-э... умению. Но теперь Ванда приходит в ярость и предупреждает меня, что, если я по-прежнему буду ею пренебрегать, ей это надоест. А я не могу от нее отказаться. Это выше моих сил. С тех пор как она появилась в моей жизни, я стал другим человеком. Давайте, друг мой, сядем на эту вот скамейку.

Росший рядом цветущий куст жимолости источал божественный аромат.

— Да, — продолжал Фонтен, — совершенно другим человеком... Не так давно я жаловался вам, что потерял интерес к работе. Теперь это прошло... Вы сами в этом убедитесь, когда я смогу прочесть вам длинную повесть, над которой, спасибо Ванде, я сейчас работаю... Знаете, прежде я никогда не был доволен тем, что пишу, а теперь это что-то новое, я уверен... Почему вы морщитесь?

— Потому что опасаюсь, дорогой учитель, как бы из-за Ванды вы не стали увлекаться предметами, вам вовсе не свойственными. Четко выраженные идеи в повести или романе... нет ничего опаснее.

— Предрассудки, друг мой, предрассудки!.. Возьмем, к примеру, Толстого, разве он боялся четко выраженных идей?.. А Джойс? А Пруст? Они не боялись вставлять в свои романы долгие литературные и даже политические дискуссии... Нет, эта нежная особа могла бы стать для меня источником молодости... Вот только я... страдаю. Я не хотел бы причинять боль ни той ни другой.

— Это непросто.

— Непросто? Разумеется... Но вполне возможно, если вы мне поможете.

И так, прохаживаясь вокруг цветника, Эрве Марсена согласился предоставить алиби на всю вторую половину июньского дня, которую Фонтен провел в галерее Эзек на вернисаже выставки Ванды Неджанин. Ванда потребовала, чтобы он не отходил от нее ни на шаг. Эдме Ларивьер, быстро пробежав по залу, завела Эрве за кадку с пальмовым деревом:

— Теперь ты признаешь, как это нелепо?! Гийом изображает из себя хозяина дома. А это предисловие... Она заставила его упомянуть какого-то Неджанина, который был маршалом при дворе Екатерины Великой! Скорее всего, это неправда, и потом, хотелось бы понять, хочет ли она быть товарищем Вандой или великой герцогиней в изгнании... А как тебе эта фраза о ее необыкновенной простоте? Наверняка сама ее и продиктовала: «Всегда строго одета, в черное, без единого украшения...» Ладно, она и в самом деле ничего не носит, даже часов, поэтому, кстати, всегда и опаздывает... Но «строго одета», вот уж нет!.. Во всяком случае, с тех пор, как она встречается с Гийомом...

— Эдме, какая страсть! Какой пыл! Что она тебе сделала?

— Она разрушила дружбу, которой я очень дорожила.

Критики между тем расхваливали портреты Ванды. Боб и Бобби, близкие приятели Ванды, забавная чета гомосексуалистов, ликовали.

— Теперь все здорово! — сказал Боб Ванде. — Тебя приняли в высшем обществе... Ничего бы не было, если бы не твой талант, но у тебя его полно, и это главное... Подружки поджидали тебя за углом, чтобы прикончить... Но ты победила, и они будут гордиться тобой.

Этот день Ванда, Фонтен, Эрве, Боб и Бобби решили завершить на Монмартре. Гийом был счастлив: оттого, что ему удалось сбежать из дома, оттого, что Ванда была с ним так приветлива и держала под руку, как супруга, оттого, что монмартрские кафе на открытом воздухе прятались под кронами каштановых деревьев на маленьких площадях.

Через несколько дней Ванда уехала на юг. Ее пригласили Боб и Бобби, у которых имелся домик в Вильфранше.

— Если вы захотите к нам приехать, дорогой Гийом, — сказала она расстроенному Фонтену, — они будут счастливы... Их вилла — это всего лишь рыбацья хижина, но лучшая комната будет ваша... Красивые девушки на пляже... А я буду *так* рада пожить наконец с вами под одной крышей... Во всяком случае, вы хоть отвлекетесь... Мы вам устроим уголок для работы.

— Я предпочел бы, — сказал он, — чтобы вы остались в Париже... Моя жена...

— Мне очень жаль, — холодно ответила она, — я не могу пожертвовать своими тремя месяцами солнца... Буду вас ждать.

Но Полина была не в том состоянии, чтобы покинуть Нёйи, а Фонтену достало здравого смысла понять, что оставить ее он не может. Эрве Марсена возобновил привычку почти каждый вечер отправляться на улицу де ла Ферм. Госпожа Фонтен, зная, что Ванда находится далеко, более не выказывала подозрительности и поощряла супруга к общению с молодым человеком. Фонтен испытывал простодушную радость, посещая места, которые открыла ему Ванда, и спектакли, на которых они когда-то были вместе. Все, что она любила — картины, пластинки, фильмы, блюда, — сохраняло в глазах Гийома удивительное

очарование. Лето было знойным, и молодые женщины за столиками кафе Монмартра одевались в легкие платья ярких расцветок.

## XI

Миновало 14 июля, и четыре тысячи человек, которые, на том основании, что поздно ложатся спать, полагали, будто ведут светскую жизнь, разъехались по морским курортам и загородным имениям. Мужественный и стенающий Фонтен оставался на своем супружеском посту. Его жена чувствовала себя лучше. Она уже понемногу вставала с постели и лежала на диване, одетая в старинное домашнее платье, через прозрачную батистовую ткань просвечивала поблекшая позолота росписи по черному бархату. Она по-прежнему была болезненно бледна, но когда впервые после долгого перерыва приняла Марсена, тот поразился, увидев ее: она напомнила ему актрис, которые после паузы в репетиции безо всяких усилий вновь обретают драматический настрой. Так и Полина легко и непринужденно вошла в роль женщины живой и блистательной.

— Добрый вечер, Эрве, — сказала она. (Она назвала его так впервые.) — Я часто думаю о вас, и думаю с благодарностью. Вы остались в Париже из-за нас, как это мило... Очень мило... Вы, как никто другой, заботитесь о Гийоме, пока я болею. Осталось недолго... Сегодня вечером доктор Голен сказал, что очень мной доволен. Он говорит, что на следующей неделе мне можно будет уже посидеть в саду. А пока уведите куда-нибудь Гийома, пусть развлечется... Бедняга, ему выпало такое скучное лето!

Стояла душная ночь, без единого ветерка. Марсена повел Фонтена в плавучий ресторан, переделанный из баржи. Вокруг говорили по-английски, по-немец-

ки, по-испански. Фонтен жаловался. Как тяжело выносить жару, говорил он, после отъезда Ванды он совершенно не может работать.

— Но на юге жара еще сильнее, — ответил Эрве.

— Вовсе нет!.. На юге всегда дует ветерок с моря... Наша подруга написала мне, что ночи на берегу божественно прекрасны... Конечно, рядом с нею ночи могут быть только такими... Вот послушайте...

Он вытащил из кармана письмо. Эрве узнал решительный мужской почерк Ванды. Он прочел:

«Небо синее, море синее, моя душа синяя. Подавая мне поднос с завтраком, Боб сказал: „Тебе письмо“. Через противомоскитную сетку я протянула еще не проснувшуюся руку. Спустя несколько мгновений я покраснела, читая эти любезные, слишком любезные слова, что вы написали обо мне. Мое сердце тоже полно вами, но я решительна и требовательна. Дорогой Гийом, может быть, вы все-таки приедете ко мне? Море, шумный и грязный порт, обнаженные по пояс грузчики, все это примирит вас с жизнью, между тем как Париж, парижане в пиджаках и рубашках с застегнутыми воротничками — это так уродливо и нагоняет тоску. Удастся ли вам, по крайней мере, работать? Вы закончили *мою* повесть? Я часто думаю об этом. Друзья насмеются надо мной, потому что стоит мне открыть рот, как я произношу ваше имя: „Фонтен...“ Как вам было бы здесь хорошо, особенно в этот час, когда взмывают белые паруса и по фиолетовому морю снуют катера с веселыми моряками. Приезжайте же, Гийом. Вы увидите, как я поджариваю спину, руки, ноги, грудь на знойной террасе. Приезжайте, жизнь прекрасна, и вы поможете мне ее полюбить».

Эрве Марсена представил себе — словно для того, чтобы сравнить, — больную в старомодном платье и обнаженную купальщицу.

— Разумеется, — сказал он, возвращая Фонтену письмо, — разумеется, это было бы заманчиво, если...

В воздухе ощущалось приближение грозы, тяжелой, душной. Фонтен жаловался на мигрень.

— Гроза, которая все никак не может разразиться, — сказал он, — это, представьте себе, состояние моей души... Гремят грозовые раскаты страстей, но, увы, столь желанные порывы урагана разгоняют тучи, не давая пролиться дождю, которого я жажду, и мое старое сердце страдает от засухи.

Когда в ночи немного посвежело, настроение его изменилось.

— Если в течение недели Полине станет лучше, — произнес он почти с вожделием, — отпрошусь у нее ненадолго и поеду в Вильфранш... Совсем ненадолго, на несколько дней... но это будут... божественные дни.

— Вы не можете так рисковать, — с раздражением сказал Эрве.

Они надолго замолчали. Метеоры чертили светящиеся линии на ночном небе. Фонтен думал о средиземноморской ночи, о пальмах, которые колышет морской ветерок, и ароматах юного тела.

— Вы ко мне суровы, — произнес он наконец, — очень суровы.

— Я? Я никогда не был привязан к вам более, чем сейчас. Просто я хочу, чтобы вы понимали меру ответственности.

— Я понимаю, друг мой, понимаю. Но это ответственность по отношению к ним обоим. Моя жена для меня все. Если бы она умерла, я бы искал ее повсюду, чтобы она меня утешила... Но Ванде я тоже неосмотрительно подарил надежду...

— Ну, за нее-то можете не беспокоиться, — ответил Эрве, пожимая плечами.

— Кроме того, есть ведь и мои собственные чувства... Вы знаете Ванду так же хорошо, как и я. Если я не поеду в Вильфранш, она не примет это поражение и порвет со мной... А я не смогу этого вынести. Да-да! Вы должны признать, что это правда!

После долгих споров Фонтен решил проконсультроваться с доктором Голеном. Тот был категоричен.

— Нет никаких сомнений, — сказал он, — госпожа Фонтен умрет от горя. Спрашиваете как? Механизм до конца не изучен. Эмоции воздействуют на эндокринные железы, усиливаются разного рода выделения, отсюда нарушения в работе главных жизненных органов. Вот приблизительно такая схема. Наш, как говорится, «верхний этаж» управляет почти всем, что происходит в теле. Какой именно орган будет поражен? Самый слабый. Это зависит от каждого человека конкретно. Я наблюдал множество случаев онкологии, вызванной, вне всяких сомнений, каким-либо несчастьем: смертью супруга, неприятностями, банкротством. Что касается госпожи Фонтен, то не все потеряно. Она вопреки всему все еще надеется. Если вы порвете с ней, я убежден, она ослабнет настолько, что умрет. Я прошу прощения за свою резкость, но необходимо, чтобы вы представляли себе ситуацию.

После консультации с доктором Гийом Фонтен написал Ванде, что состояние здоровья жены делает невозможным его приезд в Вильфранш.

## ХП

Состояние больных, достигнутых психическим, а не физическим недугом, может меняться молниеносно как в ту, так и в другую сторону. Стоило Полине

Фонтен убедиться, что муж окончательно порвал с Вандой, она начала есть и стала набирать вес. Она ожила, посвежела, щеки округлялись с каждым днем, словно детский воздушный шарик, когда его надувают. Доктор Голен, счастливый наблюдать результаты своего лечения, в разговорах с Эрве даже подтрунивал над этими изменениями, которые казались просто удивительными.

— Женщины — страшные существа, — говорил он. — Они шантажируют нас своей смертью и всегда добиваются того, чего хотят.

Гийом Фонтен, казалось, был искренне тронут. В течение нескольких дней он испытывал довольство собой, которое рождается в результате осознанного самоотречения. Несчастье состояло в том, что, вновь обретя потерянные было силы, Полина не скрывала своего триумфа и не считала нужным проявлять такт и чувство меры. Похоже, она не понимала ни размеров, ни природы жертвы, на которую пошел ради нее муж. Она была убеждена, что Гийом попал в руки интриганки, а она, Полина, образумила его, оказав тем самым огромную услугу. Она не представляла себе, какая пылкая и мучительная страсть могла настигнуть этого мужчину, которого она сама некогда любила безумно, но который давно уже стал для нее не любовником, а соратником или механизмом для написания книг.

А для Фонтена эта вторая юность, которую он пережил благодаря любви, стала за последние месяцы его надеждой и чудом. Покровительственный тон жены ранил и оскорблял его. Поведение Полины казалось ему бестактным, как политика какой-нибудь партии, которая, добившись от противников благородного компромисса, губит достигнутое примирение, злоупотребляя уступками и договоренностью и счи-

тая слабостью то, что в действительности являлось мудростью и великодушием.

— Бедный Гийом! — говорила она Эрве с надменной, снисходительной улыбкой. — Наконец-то он осознал, что ему скоро шестьдесят. И хорошо, что осознал! Его нелепая самонадеянность вызывает сострадание.

— Позвольте мне сказать вам, мадам: «Будьте осмотрительны!» Господин Фонтен на удивление молод душой и телом. Я убежден, что он может еще нравиться женщинам. Разумеется, он отказывается от них из любви к вам, но...

— Не только из любви, но из необходимости! Вы же видели, как радостно красавица бросила его.

— Она почувствовала, как он привязан к вам.

— Бедный Гийом! Что бы он без меня делал? Он ничего не знает о жизни. Вы когда-нибудь видели его на вокзале или в банке? Бросается к каждому окошку, как мотылек на свет.

Теперь она почти ежедневно прогуливалась под руку с мужем, и день ото дня прогулки становились длиннее. В тот день, когда она в Булонском лесу смогла обойти небольшое озеро Сент-Джеймс, Фонтен с гордостью поведал об этом всем друзьям, попавшимся ему навстречу. В том, что он любит жену «по-настоящему», нельзя было усомниться. Но это «бедный Гийом!» раздражало его. Жалость — неприятное чувство для того, на кого оно направлено, если речь идет не о каком-нибудь несчастном случае, а о самой природе человека. Фонтен чувствовал себя слабым, растерянным. Его недовольство стало еще сильнее и отчетливее после визита молодого журналиста, Клема на Клеманти, который явился брать у него интервью.

Это был юноша лет двадцати двух — двадцати пяти с ангельским лицом, смысленый, напористый.

С самого начала разговора он пошел в наступление и заговорил с Фонтеном высокомерным и презрительным тоном:

— Вы помните, месье, Стендаль говорил: «У меня будут читатели и в тысяча восемьсот восьмидесятом году». Вы полагаете, у вас будут читатели в тысяча девятьсот восьмидесятом?

— Какого черта мне это знать? — пробормотал Гийом Фонтен. — Вольтер не поверил бы, что мы сегодня читаем «Кандида», и был бы весьма удивлен, что в театрах уже не играют «Заиру»... Кто мог бы предвидеть судьбу Бодлера?.. Стендаль думал, что с Расином покончено навсегда.

— Возможно, месье, но очевидно, что устаревают произведения, привнесшие в литературу нечто оригинальное. Расин для своего времени был новатором. В тридцатые годы романтики обновляли одновременно и сюжеты, и язык. Сюрреалисты займут свое место в истории литературы. А вы, месье... Вы один из последних оплотов традиции... традиции превосходной и... устаревшей.

Рассказывая Эрве Марсена об этой встрече, Фонтен был встревожен и опечален.

— Однако же, — говорил он, — дерзость этого поколения переходит все границы приличия. Мне следовало бы сказать этому варвару: «Позвольте, другой, вы слишком рано меня хороните, к тому же хороните заживо. Вы тоже ничего не можете знать о будущем. Вполне возможно, что мои произведения еще будут читать в те времена, когда вы и ваши боги — колоссы на глиняных ногах — уже будете забыты... Потому что, как бы то ни было, суждение тысяч читателей по всему миру — это в каком-то смысле... э-э... предвосхищение будущего». Разумеется, я ему этого не сказал. Наверное, боялся показаться тщеславным...

Впрочем, не так уж он и не прав. Ах, друг мой, каждый день я пытаюсь определить, что я теряю, живя в этом однообразном, ограниченном мире. Наша подруга Ванда говорила мне: «Женатый мужчина — это лишь половина мужчины». И не лучшая его половина.

### ХIII

Неудивительно, что, пребывая в подобном состоянии духа, Фонтен оказал радушный прием одному иностранному посетителю, которому после сотни настойчивых ходатайств известных людей удалось прорваться к нему сквозь все кордоны, установленные Полиной, по-прежнему энергичной и деятельной. Этот Овидий Петреску, несмотря на румынское имя, являлся гражданином Соединенных Штатов. В Нью-Йорке он возглавлял литературное агентство и бюро по организации публичных лекций, и то и другое процветало. Его манера общаться напоминала бурный поток в период половодья. Лавина слов, которая уносила за собой все. Собеседник заранее оказывался побежденным, потому что не мог вставить ни слова. Во время штурма в ход шли любые доводы: патристические, финансовые, личные. Фонтен был очарован, польщен, закружен в вихре. Овидий Петреску хотел, чтобы «мэтр» согласился выступить с лекциями в Южной Америке и завершить свое турне в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии. Свой проект он излагал весьма красноречиво, то патетично, то лирически-восторженно, а когда Фонтен отказывался понимать свой «долг», осыпал его упреками:

— Мэтр, вы не знаете, что вы есть там! В Бразилия, Аргентина, Чили, Венесуэла месье Фонтен — это есть

Бог... Господь Бог!.. Все женщины, они читать ваши романы, они их знать наизусть, вас принимать как господин. А если вы не приехать, мэтр, то кто приехать? Совсем маленький никто, и все думать, что это есть на прекрасный французский язык! Я, Петреску, это не позволить. У меня есть французский воспитание, я говорить французски лучше, чем свой родной язык; я защищать французский во всем мире, и я вам говорить: «Надо подписать!»

— Но, друг мой, я не оратор, не путешественник. Я ничего не знаю об этих странах, я не говорю на их языках. И мне — увы! — необходим рядом врач, который знает меня. Там другой климат, понадобится другое лечение. Если бы я вас послушал, это было бы опасно для меня...

Петреску грустно покачал головой:

— Мэтр, вам не надо сказать: «Если бы я послушал...», ведь в ваше сердце вы уже согласиться. Да-да, в ваше сердце вы уже все подписать. Вы любите своя страна? Вы любите своя слава? Значит, вам надо ехать. Если вы заболеть, я вас буду лечить. Там есть много врачей. Мэтр, нам *надо* ехать: я уже все устроить, есть зал, есть афиши... ГИЙОМ ФОНТЕН... Женщины, они сойдут с ума, когда прочитатъ. Женщины, мэтр! Самый красивые, самый нежные в мире... Я совсем не мэтр, но я знать одну...

Фонтен воздел руки к верхним полкам книжного шкафа, где дремали философы.

— А вот этого, — сказал он, — я как раз и не хочу. В моем возрасте мне не нужны приключения, друг мой.

— Не надо приключения!.. Мэтр, вам *о-пре-де-лен-но* надо приключения. Ваш великая Колетт говорил: «В двадцать лет не соблазняют, а соблазняются». А когда пятьдесят...

— Скоро уже шестьдесят, — вздохнул Фонтен.

Петреску не преминул продемонстрировать лестное для собеседника изумление.

— Это *не* есть возможно, — произнес он с непобедимой уверенностью.

Фонтену это доставило удовольствие.

Однако он долго не соглашался. Петреску терпеливо приходил вновь и вновь, атаки следовали одна за другой, сменяя очередной бастион. Этот румыно-американец стал в доме почти своим. Алексис говорил с грустной покорностью: «Опять этот месье...» Госпожа Фонтен называла его «Маленький Никто». Фонтен, которого забавляло латинское имя этого гостя, именовал его «Овидиус Назо»<sup>1</sup>. Эрве Марсена, которому довелось присутствовать при некоторых беседах Фонтена и Петреску, пытался предостеречь Полину:

— Если вы будете его принимать у себя, мадам, господин Фонтен в конце концов подпишет контракт. Наш *Маленький Никто* — это природная стихия, за его акцентом не всегда можно распознать ум, но, уверяю вас, он весьма проницателен.

— Но почему бы Гийому и не отправиться проповедовать среди пингвинов? — отвечала она. — Это его развлечет, ну и впоследствии даст ему возможность испытать сладость возвращения в родной дом: «*Один из них, тоскуя дома...*»<sup>2</sup>

— Один из них? Так вы с ним не поедете?

— Разумеется, нет! — решительно сказала она. — Я только что оправилась после тяжелой болезни, мне нужен долгий отдых... И потом, это путешествие меня совсем не прельщает. Когда-то мне нравилось ездить с Гийомом в Италию, Грецию, в Египет... Но эти новые континенты, где нет прошлого, нет истории...

---

<sup>1</sup> Имя известного римского поэта.

<sup>2</sup> Цитата из басни Лафонтена «Два голубя».

— Нет прошлого? А инки? А майя?

— Не люблю кроважидных идолов, — ответила она. — Это не *мое* прошлое.

— А вы не боитесь, что, если отпустите господина Фонтена одного, у него там будет слишком много соблазнов? Говорят, местные женщины очень чувственны и нежны. Господин Фонтен будет там «знаменитым иностранцем». Его известность станет приманкой.

Она засмеялась:

— Этого я как раз не боюсь. Недавнее разочарование убедило Гийома, что он не создан для подобных игр. К тому же во всех этих городах он будет совсем недолго. Ни одна женщина не успеет его завоевать, тем более удержать при себе... И потом, даже если бы я и захотела, то не смогла бы отправиться в это путешествие. Теперь, слава богу, я чувствую себя хорошо, но вы знаете, ценой каких усилий, к тому же приходится соблюдать строгий режим... Нет-нет, если Гийом согласится на поездку, я останусь дома, буду разбирать наши архивы, отдохну. После стольких лет активной деятельности мне необходимы одиночество и покой... Через наших нью-йоркских друзей я навела справки об этом Петреску, это порядочный и надежный человек. Так что...

Фонтен все еще колебался. История с Вандой породила в нем неуверенность и недовольство собой. Он в порыве нежности и любви был готов вернуться к жене. Вот только она никак его не поощряла. Много раз во время совместных прогулок он пытался воскресить атмосферу прежних счастливых дней. Она довольно резко опускала его на землю, начиная обсуждать какие-нибудь бытовые вопросы, которые Фонтену представлялись заурядными и бессмысленными. Он замолкал и вновь начинал пережевывать свои горести.

— Бодлер был прав, — сказал он однажды Марсена. — Человек может в течение двух дней обходиться без пищи, а без поэзии нет. Я не желаю, чтобы меня постепенно засасывал быт. В сущности, условием нашего существования является неприятие того, что нас окружает. Согласие со всем — это смерть. Труп смиряется с тем, что он есть лишь то, что есть. Но это единственный пример.

Со скорбным выражением лица вошел Алексис:

— Пришел тот месье.

Фонтен, казалось, размышлял вслух:

— Да-да, *Овидиус Назо*... Может, это и выход, хоть на какое-то время?.. Видите ли, друг мой, к пятидесяти-шестидесяти годам мы, словно панцирем, обрастаем долгом, обязательствами, ограничениями, и этот панцирь такой тяжелый и плотный, что нам становится тяжело его носить... Меня это удручает... Знаете, омары время от времени прячутся в какую-нибудь расщелину в скале и наращивают новую скорлупу. Мне было бы нужно преобразование, линька, если вам угодно... *Овидиус Назо*, возможно, посланник Божий... Алексис, пригласите вестника богов.

Алексис сочувственно покачал головой и крадучись вышел.

В тот день Фонтен, не читая, подписал контракт, предложенный ему Петреску. Он брал на себя обязательство провести полтора месяца в Южной Америке, затем две недели в Соединенных Штатах. Уезжать из Франции надо было в начале августа, и для того, чтобы подготовиться к лекциям, оставалось совсем немного времени. О чем нужно будет говорить?

— О самых современных сужет, — посоветовал Петреску.

— Что вы называете *современным*, друг мой? Это запоздалые отзвуки спора о древних и новых. Если

верить некоторым молодым людям, я совершенно несовременен.

— Мэтр, вы вечный, — сказал Петреску... — Сюжеты? Там они любить все новое. Можно говорить про экзистенциализм... Или говорить о себе... Это не есть важно... Если я ставить на афиша: ГИЙОМ ФОНТЕН, даже без титул, все женщины бежать в театр... Триумф, мэтр, будет триумф.

Полина приняла это решение безропотно и даже с некоторым облегчением. Выяснив, какой в этих странах климат, она стала подбирать необходимую одежду. Петреску должен был сопровождать «мэтра» в поездке и заботиться о его нуждах. Эрве Марсена отправился вместе с Фонтеном в Бордо, где паломникам предстояло сесть на корабль. Фонтен показался ему взволнованным и довольно несчастным. Казалось, он мечтал о прощальной сцене, а возможно, искал последний шанс отказаться от поездки. Госпожа Фонтен сделала все возможное, чтобы не оставаться с мужем наедине. В последний момент перед тем, как Фонтен ступил на трап, она позволила себя обнять, но выглядела при этом на удивление спокойной. Стоя на причале, она крикнула:

— Вы не забыли свои авторучки, Гийом? А две пары очков? А паспорт?

Опершись на леер, он раздраженно отвечал:

— Ну конечно, я вам уже три раза говорил.

Это были последние внятные слова перед отправлением. Следующую фразу заглушил гудок сирены.

## ***Часть вторая***

В чем ты преуспел? В том, чтобы убедить меня, что меня еще можно любить? Нет, ты пробудил во мне демона, который мучил меня в юности, ты возродил мои прежние страдания.

*Шатобриан*

## I

Когда около полуночи Гийом Фонтен вошел в холл отеля «Боливар» в Лиме, он внезапно почувствовал, что совершенно выбился из сил. Вот уже четыре недели он перемещался из города в город то на самолете, то по железной дороге. В Бразилии и Аргентине, в Уругвае и Чили он читал лекции, выступал перед журналистами, держал речь перед академиками. Чем больше проходило времени, тем явственней ощущал он бессмысленность всей этой суеты. В начале путешествия его поддерживало то тепло, с каким его неизменно встречали, а также энтузиазм Петреску, который беспрестанно повторял: «Триумф, мэтр! Я вам говорить: триумф». Постепенно похвалы стали его утомлять. Из-за того, что лекции и встречи следовали одна за другой, он обречен был снова и снова повторять банальности; при мысли об этом он покраснел. Когда он оставался один, его, словно зубная боль после недолгой передышки, вновь начинали терзать воспоминания о любовном приключении. «Ах, Полина, Полина! — думал он. — Если бы вы были чуть более нежны со мной, ничего подобного бы не произошло и мне не пришлось бы сейчас скитаться среди этих иностранцев, как изгнаннику!»

Петреску, который переводил для него приветственные слова управляющего отелем, он устало прошептал:

— Друг мой, главное, скажите ему, чтобы он не пускал ко мне посетителей... Предупреждаю вас, эта помпезность, которую я вынужден выносить, меня просто убьет.

— Нет помпезность, мэтр... Здесь, Лима, вы отдыхать... Мы здесь четыре дня и только две лекций.

— А сколько президиумов?

— Только одна, мэтр... Теперь — не надо меня ругать — перед тем, как спать, надо пресс-конференций... Пять минут!

— Но зачем, друг мой, зачем? Чтобы назавтра в Лиме обо мне говорили то же самое, что уже говорили в Монтевидео, в Сантьяго, в Вальпараисо? Зачем нам это? *Этим тщеславным прикрасам я предпочла бы пепел...*<sup>1</sup>

Петреску грустно покачал головой. Не может быть, чтобы француз готовил это всерьез, он просто не понимает сам, что говорит.

— Принимать пресса — это важно, мэтр, она здесь очень много влияния... Но здесь, Лима, журналисты не говорить французски так хорошо, как Аргентина.

— И что же, друг мой? А я не говорю по-испански... О чем весьма сожалею. Если бы Корнель и Гюго не знали этого языка и этой поэзии, они не стали бы теми, кем стали... Но что есть, то есть.

— Знаю, мэтр... Я все устроить, у вас есть переводчик. Она молодая актриса, быть у нас на гастролях год назад... Очень известная Южная Америка... Долорес Гарсиа... Она вам понравится, мэтр... Красивая, прелестная... Вот она.

В комнату как раз входила молодая женщина, светловолосая, с непокрытой головой.

— Да, весьма прелестная, — согласился Фонтен.

---

<sup>1</sup> Цитата из трагедии Расина «Эсфирь».

Лицо с чуть выступающими скулами выдавало в ней индианку. Глаза цвета морской волны, обрамленные черными ресницами, были живыми и мягкими. Яркие губы изогнулись в кокетливой улыбке.

— *Qué tal<sup>1</sup>, Lolita?* — сказал Петреску. — Сеньора Долорес Гарсиа; мэтр Фонтен... Когда вы входите, Лолита, мэтр на десять лет меньше.

— У поэтов нет возраста, — сказала Долорес.

Она говорила по-французски с едва уловимым акцентом. Фонтен отметил ее хорошее произношение.

— А я между тем ни разу не была во Франции и вообще в Европе, — ответила она. — Но я воспитывалась во французском монастыре, Нотр-Дам де Сион, и читаю в основном французских писателей.

— Правда? А что вы читаете?

— Ваши книги, маэстро... Я могу так сказать, *по?*.. Правда, я актриса и читаю в основном драматургов: Клоделя, Ленормана, Жироду. Пытаюсь переводить пьесы... Еще я читаю поэтов: Лафорга, Валери, Макса Жакоба, Аполлинера.

— А Расина, Мюссе, Бодлера?

— *Claro que sí...<sup>2</sup>* А вот и журналисты.

Она пошла им навстречу. Фонтен любовался, как легко и непринужденно она держится. Она объяснила, что трое из критиков люди умные, и с ними говорить будет легко, а вот у четвертого репутация...

Она задумалась:

— *Cómo se dice?<sup>3</sup>*

— Надо держать ухо востро, — подсказал Фонтен.

— Вот именно. Нужно быть осторожным.

— Дорогая сеньора, вы будете очарованы гулкой бессмысленностью моих слов.

---

<sup>1</sup> Как дела (*исп.*).

<sup>2</sup> Конечно да (*исп.*).

<sup>3</sup> Как это сказать? (*исп.*)

Она рассмеялась и с самого начала разговора принялась его подбадривать. Сидя в низком кресле, чуть наклонясь вперед, очень внимательная, она словно поддерживала Фонтена взглядом. Один журналист спросил, использует ли Фонтен персонажей из реальной жизни, когда пишет роман.

— Это химический процесс, не поддающийся описанию, — ответил тот. — Исходная точка, она да, из жизни, а природные элементы... художник их... э-э... перерабатывает, превращает в некую особую субстанцию... Все персонажи романа — это в сущности... Толстой говорил: «Я взял Сою, перетолок ее с Таней, и получилась Наташа...» Гёте наблюдает за Гёте, чтобы вышел Вертер, но Вертер очень далек от Гёте, поскольку Вертер не пишет «Вертера»... Представьте себе, что Бальзак и Стендаль наблюдают за одними и теми же событиями, они написали бы об этом два совершенно разных романа.

Долорес перевела, затем добавила по-французски, только для Фонтена:

— Это как художник, *по?*.. Их общая палитра — природа, но у каждого есть еще и своя. Нам известно, что Мари Лорансен всегда использует тот же бледно-голубой, тот же розовый, что у Эль Греко будут совершенно нереальные зеленый и синий, а у Ренуара все женщины будут... *cómo se dice?*.. такими радужными, *по?*..

— Bravo! — воскликнул Фонтен. — Где, черт возьми, вы смогли изучить этих художников, если никогда не были в Европе?

— Из книг, у меня есть альбомы с репродукциями.

Они заговорили друг с другом, совершенно забыв про журналистов, которые прислушивались, пытаясь выхватить хоть слово. Наконец недовольный Петреску вмешался:

— Лолита, надо говорить испански. Наш мэтр, вы его еще увидите, а эти *señores*...

В разговор вступил «ухо остро». Он задал было вопрос, и Долорес резко осадил его по-испански. Затем она сказала Фонтену:

— Это вздор! Он спросил, принимаете ли вы нас всех за дикарей.

— Скажите ему, что мне, напротив, прекрасно известно, что ваша цивилизация — одна из самых древних на планете, и я во время этого путешествия намереваюсь изучать ваше искусство.

Долорес произнесла целую речь. Она развила то, что сказал Фонтен. Он смутно угадывал, что она говорит о «природной энергии земли, предназначенной для поэзии», ничего общего с тем, что сказал он. Но он с удовольствием наблюдал, как серьезно она это говорит и как меняется упрямое выражение физиономии задавшего вопрос журналиста. Под конец он одобрительно кивнул.

Когда журналисты откланялись, Петреску сказал:

— Уф! Теперь, мэтр, он будет отдыхать... *Muchas gracias*<sup>1</sup>, Лолита.

— Минутку, — вмешался Фонтен, — минутку. Надо, чтобы сеньора Гарсиа что-нибудь выпила с нами, чтобы отметить удачное окончание разговора, который, если бы не она, превратился в неравную битву. Что вы посоветуете здесь выпить, сеньора?

— Прошу вас, говорите «Долорес»... Мое полное имя Мария де лос Долорес, но все здесь называют меня Лолита... Долорес — это так чопорно... Местный напиток? *Pisco*, белый ликер, чистый, натуральный... Его пьют со льдом, думаю, вам понравится.

За стаканчиком ликера Фонтен и Долорес оживленно беседовали.

---

<sup>1</sup> Большое спасибо (*исп.*)

— Расскажите мне про Лиму, — попросил он. — Что здесь стоит посмотреть?

— Все! Лима — загадочный, чарующий город. Только его нельзя посещать с официальными делегациями. Позвольте мне повести вас *bajo del puente*, за мост, в старые испанские кварталы. Вы знаете, что здесь был вице-король?

— Разумеется, ведь в Лиме происходит действие «Кареты святых даров»<sup>1</sup>. Можно увидеть дом Периколы?

— Я вас туда свожу.

— Вы и есть Перикола?

— У нас есть что-то общее. Но она была веселой, а я грустная.

— Не сегодня.

— Нет, сегодня я счастлива... *Soy feliz...* Сама не знаю почему... Если бы у меня была гитара, я бы вам спела мелодии фламенко.

— Почитайте мне испанские стихи.

Она провела рукой по вьющимся волосам, и Фонтен обратил внимание на ее длинные тонкие пальцы.

A mis soledades voy  
De mis soledades vengo  
Porque para andar conmigo  
Me bastan mis pensamientos...

— И что это означает?

— «Я иду к своему одиночеству, / Я ухожу от своего одиночества, / Потому что, чтобы идти со мной, / Мне достаточно моих мыслей». Это Лопе де Вега... Есть только два по-настоящему великих испанских поэта: Лопе де Вега и Федерико.

— Федерико?

— Федерико Гарсиа Лорка.

---

<sup>1</sup> Одноактная пьеса П. Мериме.

— А Кальдерон?

— Он меня трогает меньше... Он богослов... Обожаю Федерико, я здесь играла «Кровавую свадьбу»... После его смерти я повесила его портрет над кроватью... Вы читали его «Цыганские романсеро»? *No?*.. О, надо прочесть... Это самые прекрасные стихи нашего времени... Я вам переведу. Знаете, во мне есть цыганская кровь! У меня огромная сила воли... Вы еще убедитесь.

— Нам столько еще всего надо сделать вместе! — воскликнул он. — Прогулки, чтение, переводы, самонаблюдение.

— Да, *maestro*, в самом деле, столько всего.

Она посмотрела на него долгим взглядом, не говоря ни слова. Петреску зевнул.

— Мэтр, это не есть разумно. У вас завтра трудный день, а сейчас больше два часа... *Buenas noches*<sup>1</sup>, Лолита...

Она, не без сожаления, поднялась.

— *Buenas noches, maestro*, — произнесла она задумчиво и доверчиво.

Фонтен смотрел, как она удаляется танцующим шагом.

— Какая чудесная девушка! — сказал он.

— Да, великая актриса, мэтр... Я возил ее до самый Мехико. Театры, они были слишком маленький... *Buenas noches, maestro*.

## II

Петреску организовал обед у дона Эрнандо Тавареса, председателя комитета по организации публичных лекций. Молодой холостяк барон де Сент-Астье,

---

<sup>1</sup> Спокойной ночи (*исп.*).

поверенный в делах при посольстве Франции, заехал на служебной машине за Фонтеном и Петреску, чтобы отвезти их на обед. Погода была теплой, небо облачным.

— В этом городе самый странный климат на планете, — грустно сказал Сент-Астье. — В течение шести месяцев в году над Лимой висит это неподвижное облако, накрывая его, как крыша. Дождя не бывает никогда. Французский профессор, который преподает географию в Университете Сан-Маркос, не может объяснить своим студентам, что такое дождь, если тем не приходилось путешествовать. Они знают только слово. Когда из-за тумана мостовая становится влажной, жители Лимы говорят: «Видите, какой дождь?» Когда температура падает на один градус, они вздыхают: «Холодно». А летом шесть месяцев сияет солнце, сейчас вы могли бы увидеть солнце за городом, в тридцати километрах. Как жаль, что у вас не будет времени поехать в Анды.

— Сколько индейцев на улицах! — воскликнул Фонтен, разглядывая толпу на тротуарах.

— Ну да! Половина населения Перу — чистокровные индейцы, они еще говорят на *кечуа*. Они живут на земле, здесь их опора, их стада лам. А вот Университет Сан-Маркос, где вы сегодня будете выступать. Он самый старинный на всем континенте, да-да, он старше Гарварда или Вильямсбурга.

— Господин министр, — спросил Фонтен, — вам знакома молодая особа по имени Долорес Гарсиа?

— Я не министр, — вздохнул Сент-Астье, — я всего лишь советник посольства и поверенный в делах в отсутствие моего начальника, который сейчас в отпуске в Париже... Лолита Гарсиа? Кто же не знает Лолиту?.. Она очень нам помогает. Когда на собраниях Альянс Франсез нужно, чтобы кто-нибудь почитал стихи, она нам никогда не отказывает.

— Она очаровательна, — сказал Фонтен.

— Она талантлива, — отозвался Сент-Астье. — На прошлой неделе она играла на площадке перед церковью Святого Франциска, *ауто*<sup>1</sup>, то есть мистерию *El Viaje del Alma*, «Странствие души» Лопе де Веги... Это было прекрасно.

— Охотно верю, — согласился Фонтен.

Автомобиль катился по улочкам нового квартала. Густые бугенвиллеи, красные и фиолетовые, оплетали белые дома.

— Мы в пригороде Мирафлорес, — пояснил Сент-Астье, — здесь живет наш хозяин... Видите, глубокоуважаемый господин Фонтен, новые дома здесь строились одновременно в мадридском стиле — обратите внимание на эти выступающие деревянные балконы — и в стиле модерн, с белыми пустыми пространствами... Немного напоминает Марокко эпохи маршала Лиотэ.

— Мэтр, — вмешался в разговор Петреску, — у дон Эрнандо будет Долорес Гарсиа. Я ее пригласить... для вас.

— Почему для меня? — спросил Фонтен. — Для радости всех нас.

— Сегодня вечером, — сказал Сент-Астье, — я буду счастлив послушать вас, глубокоуважаемый господин Фонтен. Здесь, в десяти тысячах километров от Франции, мы очень ценим таких гостей, как вы.

— Вам тут скучать не приходится, — сказал Фонтен. — Жительницы Лимы такие красивые.

— У них, — ответил с удрученным видом Сент-Астье, — самые большие глаза и самые маленькие ножки на свете, но мужья их ревниво опекают. Это по преимуществу католическая страна, хотя у индейцев

---

<sup>1</sup> *Ауто* — испанская короткая драма на религиозный сюжет XVI–XVII веков.

есть еще странные поверья вроде религии солнца... Уверяю вас, это отнюдь не рай для холостяков... Вот мы и приехали.

Им навстречу вышел дон Эрнандо, солидный и величественный. Он по-французски представил гостям испанского посла с супругой и двух молодых женщин: Мариту Мигес де Рока и Долорес Гарсиа. Лицо Фонтена озарилось радостью.

— Мой ангел-хранитель, — объяснил он. — Вчера вечером она спасла меня от хищных зверей, которым Овидиус Назо бросил меня на растерзание.

Он с юмором рассказал о своей вчерашней встрече с журналистами. За столом ему досталось место между хозяйкой дома, которая говорила только по-испански, и Долорес; с ней, как со старой знакомой, он незаметно для присутствующих обменялся дружескими репликами.

— После обеда, — сказала она ему тихонько, — постарайтесь избавиться от Сент-Астье и Овидия. Я хотела бы показать вам Старый город.

Он заговорщически улыбнулся:

— Договорились, я сбегу.

И они присоединились к общему разговору. Дон Эрнандо, историк по образованию, хотел объяснить гостю, что между индейской и кастильской традициями идет тайная война.

— В Мексике, — сказал он, — индеец одержал победу над испанцем. У нас же борьба все еще продолжается, и сейчас в Перу по-прежнему правят старинные испанские семейства. Но поскольку теоретически у нас всеобщее избирательное право, всякого рода демагогам ничего не стоит начать подстрекать индейцев.

— Почему демагогам? — взволнованно спросила Долорес. — Надо ведь что-то делать... бедных индейцев эксплуатируют владельцы *асьенд*.

— *Momentito*, — сказал Таварес, — *momentito*... В Южной Америке на испанцев всегда клеветали, господин Фонтен, потому что англосаксонские историки первыми написали историю завоевания страны... Они, англосаксы, решили индейскую проблему, уничтожив коренное население. А мы их спасли и обратили в христианство. Надо было бы написать «Жизнь Писарро»<sup>1</sup>, чтобы показать, что конкистадор отнюдь не был человеком лживым и жестоким, он сам чуть было не стал жертвой своей веры в Верховного инку.

— Я мало что обо всем этом знаю, — скромно сказал Фонтен, — но помню, меня весьма тронула история этого, как его... э-э... Атауальпы, который доверчиво пришел на встречу, а его заточили в тюрьму... Там есть сцена, достойная «Саламбо», когда он повелел своим подданным наполнить золотом целую комнату, чтобы купить свою жизнь. Но хотя выкуп был заплачен, конкистадор велел его задушить.

— Вы не так уж мало знаете, *маэстро*, — сказала Долорес. — Это печальная правда.

— Вы интересуетесь историей инков, господин Фонтен? — спросил Сент-Астье. — Мы покажем вам музей Магдалены.

Долорес наклонилась к Фонтену.

— Нет, — прошептала она, — его вам покажу я.

После обеда хозяин повел гостей смотреть картины:

— Вам следует знать, господин Фонтен, что после завоевания страны в шестнадцатом—семнадцатом веках в *Куско*, древней столице инков, появилась школа художников, многие из них были индейцами.

---

<sup>1</sup> *Франсиско Писарро-и-Гонсалес* (1475–1541) — испанский конкистадор, завоевавший империю инков и основавший город Лима.

Они хотели подражать испанской живописи, с которой познакомились благодаря конкистадорам, вот только сцены из Нового Завета у них были окрашены местным колоритом: пальмы, бананы, гранаты и даже их бог солнца... Поскольку золота в Перу было в избытке, эти художники использовали его, чтобы усилить яркость красок, как в Византии, и даже еще больше... Вот посмотрите...

— Очень интересно, — согласился Фонтен. — Костюмы, как у инков, а краски, как у Эль Греко... Но какой мрачный мистицизм!

— Испанское искусство вообще мрачно, — серьезно сказала Долорес Гарсиа. — И Перу невеселая страна. Это облако над Лимой... Эта вулканическая природа... Представьте, *маэстро*, в наших церквях Иисуса Христа называют *Nuestro Señor del Terremoto*, Господь Землетрясения... А ведь был один период: Лима восемнадцатого века, Лима времен Периколы...

Она украдкой взглянула на Фонтена и взяла его за руку:

— Посмотрите, *маэстро*, вот акварели Панчо Фьерро... У доня Эрнандо есть просто чудесные... Вот, например, *tapadas*, индейские женщины восемнадцатого века в мантилье, из-под которой был виден только один глаз... Позже Церковь запретила этот головной убор.

— Я понимаю Церковь, — сказал Гийом Фонтен. — Нет ничего более опасного и возбуждающего, чем спрятанный глаз.

— Потом, — добавил дон Эрнандо, — случился бунт *tapadas*, которые пытались отстоять право вновь носить мантилью... Кажется, они одержали победу. Я видел, как Лолита играла «*Motin de las tapadas*»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «Бунт тападас» (исп.).

Этот костюм ей очень шел... Ты была неотразима, Лолита. Впрочем, ты всегда такая.

Фонтена весьма удивило это внезапное обращение на «ты», и она это заметила.

— Вы не знаете, *maestro*, но у нас все сразу на «ты», как только познакомятся... Через два дня вы будете на «ты» со всей Лимой.

Когда Фонтен стал прощаться, Сент-Астье поднялся и сказал:

— Минутку, уважаемый господин Фонтен, сейчас подгоню машину.

— Нет-нет, господин министр, благодарю вас... Мне хотелось бы пройтись... Обед дона Эрнандо требует *mille passus post prandium*...<sup>1</sup> Впрочем, если хочешь по-настоящему узнать город, надо ходить пешком. Может быть, эта прекрасная Антигона, — продолжал он, повернувшись к Долорес, — согласится напутствовать мою старость и мое невежество?

— С удовольствием, — отозвалась Долорес.

— Я бы тоже пройтись, — решительно заявил Петреску.

— Нет-нет, друг мой... Вам нужно еще уладить какие-то вопросы с конференцией... Не беспокойтесь о нас. Если мы устанем, то возьмем такси.

Присутствующие переглянулись, но возразить никто не решился.

### III

Такси, которое везло в город Долорес Гарсиа и Гийома Фонтена, мчалось так быстро, что молодая женщина все время валилась на своего спутника. Ее это забавляло.

---

<sup>1</sup> После обеда надо сделать тысячу шагов (*лат.*).

— Для водителей в Лиме, — сказала она, — просто дело чести ездить с опасностью для жизни. Тут недалеко на площади есть памятник одному адмиралу, так его сбивали раз десять.

— Какая восточная улица! — воскликнул Фонтен. — Эти открытые лавочки похожи на базар где-нибудь в Каире или Марракеше.

— *Claro que sí...*<sup>1</sup> Испания оставила здесь следы арабского и мавританского присутствия. Другой Восток, китайский, индийский, тоже бросил здесь свои семена, которые прекрасно прижились... Вы знаете наши песни фламенко? *No?* Они такие же андалузские, как и арабские.

Наклонившись к нему, она стала вполголоса напевать какую-то грустную песню, и Фонтену очень понравился хриловатый тембр. Она смотрела на него, словно слова этой песни были адресованы ему. Он спросил, что они означают.

— Это признание в любви, любви необузданной и... *cómo se dice?*.. сладострастной... *Es bonito, no?*<sup>2</sup>

— Да, *bonito*, но очень трагично.

— Конечно, — согласилась она. — Любовь *всегда* трагична. Для нас петь — это значит плакать. Наши песни — это плач и стон... Святая Дева здесь называется Богородица Тревог, Богородица Семи Мечей, Богородица Скорбей... Арабы привнесли в эти песни монотонность, бесконечное терпение, а цыгане какое-то новое и... *cómo se dice?*.. глубокое звучание. Я в глубине души цыганка!

Когда такси подъехало к старой площади Плаза де Торос, она велела шоферу остановиться.

— Теперь пойдем пешком... Я хочу вам показать небольшую часовню, куда приходят помолиться то-

---

<sup>1</sup> Именно так (*исп.*).

<sup>2</sup> Правда красиво? (*исп.*)

реро, перед тем как убить или быть убитым. Вы любите корриду, *maestro*? *No*? Я заставлю вас полюбить. Но сначала надо полюбить Смерть. Мы, испанцы, все время думаем о своей смерти. Мы хотим, чтобы она была красивой и достойной. В бое быков нам больше всего нравится насмешливое изящество тореро перед этими смертоносными рогами... *Nuestras vidas son los ríos — Que van dar a la mar, — Que es el morir...* «Наши жизни — это ручьи, / Которые впадают в море, / Море по имени Смерть».

— Впадают в море — значит *умирают*, — поправил он. — Так лучше. Это чье? Вашего любимого Федерико?

— Нет, это стихи гораздо более давние... Это Хорхе Манрике... Но смерть присутствует во всех стихах наших поэтов. Испанец и живет только ради смерти. Вот почему американцы обманываются, пытаются научить нас хорошо жить... Мы не хотим хорошо жить, мы хотим лишь хорошо умереть... Идите сюда... Эта дорога *Alameda de los Descalzos*<sup>1</sup> ведет к монастырю Босых Монахов.

Она взяла Фонтена за руку и изобразила танцевальное па.

— Эти статуи под деревьями, — сказал он, — напоминают мне наш Люксембургский сад, который я надеюсь однажды вам показать. В сущности, мы, французы, классики, а вы... э-э... романтики.

— Нет, — возразила она, — наверное, мы все-таки люди Средневековья. У нас нет чувства меры, мы не понимаем, что это такое, этой жизнью, такой короткой, мы хотим наслаждаться страстно, при этом опасаясь проклятия и вечных мук ада, но все равно надеясь, что достаточно мгновения раскаяния — и можно обрести Божественную милость.

---

<sup>1</sup> Аллея Босоногих (*исп.*).

— Вы верующая? — спросил он.

Она удивленно посмотрела на него:

— Ну а как же иначе?

Она повела его к дому Перикола. Они шли по бедному кварталу.

— Из-за землетрясений, — объясняла Долорес, — эти старые дома были построены из стеблей бамбука, *canasta*, залитых гипсом. Вместо крыши у них тонкие доски или вообще раскрашенные холсты. Город-декорация. Даже церковные колокольни были из *canasta*, зато статуи святых из серебра, а их покровы из золота. Сколько индейцев, *maestro*, погибло в шахтах, чтобы извлечь оттуда эти металлы! И все это во имя Бога, который любит бедняков и сам родился в хлеву!.. Меня это поражает... А вас?

На окнах домов сушилось разноцветное белье. Слепой нищий играл на мандолине.

— Забавно, — сказал Фонтен, — все эти нищие у Гойи, у Веласкеса... Здесь они совсем такие же.

— Нищие, — сказала она, — это часть нашей жизни. Быть *кабальеро*, *идальго* — это не зависит от общественного положения, от полученного состояния, это просто... *cómo se dice?*.. природное великодушие. У Кальдерона нищий попадает прямо в рай, человеку богатому и рабочему это сделать гораздо труднее... А вот и дворец Перикола. По крайней мере, так его называют... Это тот самый дом, в котором могущественный вице-король поселил свою любовницу.

Фонтен восхитился архитектурным стилем — эдакий креольский Людовик XV, — где мраморные колонны заменили стволами бамбука. Дворец превратился в казарму. Во дворе солдаты чистили лошадей. По мощеной мостовой стучали копыта. Несколько мужчин прекратили работу, засмотревшись на Долорес Гарсиа.

— *Mira*, — сказал один из них, — *es guapa*<sup>1</sup>.

Она довольно рассмеялась:

— Крепко словцо; он хотел сказать, что я красивая. Правильное слово было бы *hermosa*.

— По-латыни это *formosa*. Если бы я провел с вами месяц, я бы заговорил по-испански.

— Вы заговорите на нем завтра, — сказала она. — Итак, *mira*, Гийом, — она впервые назвала его по имени, и ему показалось, что она приласкала его, — это была комната Перикола с кроватью под балдахином, расписанным наивными и чувственными картинками... Сюда приходил ее любовник. А рядом, в соседней комнате, молельня. Согрешив, она устремлялась напрямик туда, чтобы вымолить прощение у Господа... На столике миниатюрная золотая карета с праздника Тела Господня... *Es bonito, no?*

— *Muy bonito*<sup>2</sup>, — ответил он. — Мне кажется, я слышу, как во дворе бьют копытом андалузские мулы.

— Посмотрите в окно, видите в ветвях дерева плетеный домик?.. Там вице-король отдыхал после обеда.

— Милый восемнадцатый век! — воскликнул Фонтен. — Чудесная эпоха, когда великий страх еще не овладел правящими классами! Чудесное время, когда посланник его католического величества мог, не опасаясь скандала, жить с любовницей! Увы! После всех наших революций и реакций мы сделались моралистами. Но наша мораль не в сердце, что пошло бы ему только на пользу, а... э-э... в поведении.

— *Ah!* Гийом, — сказала она и вновь взяла его за руку.

Выходя из дворца, в какой-то лавчонке Фонтен увидел трости из необработанного дерева и непре-

---

<sup>1</sup> Смотри, какая красotka (исп.).

<sup>2</sup> Очень красиво (исп.).

менно захотел купить такую. Мамаши, гуляющие с детьми по Аллее Босоногих, с удивлением смотрели, как он поднимает эту трость к небу и, остановившись посреди дороги, что-то долго говорит смеющейся Долорес. Еще погуляв немного, она вновь предложила взять такси и отправиться в музей Магдалены.

— Вы не против, Гийом? Там изумительное собрание статуй, керамики и тканей, настоящая история доколумбийской цивилизации.

— Искусство инков? — спросил Фонтен. — Разумеется, я хочу в этот музей.

— Нет же, это *не* искусство инков, Гийом! Все так говорят, потому что Писарро и Альмагро<sup>1</sup> нашли здесь инков, но ведь сами инки были завоевателями, которые покорили империю и разрушили гораздо более древнюю цивилизацию... и вы сейчас увидите ее остатки... Сорок веков искусства, как в Египте. Я так рада, что первая покажу вам эту красоту... Уверена, вам понравится.

— Я тоже уверен, — ответил он.

В этот момент такси сделало смертельно опасный поворот, и Долорес, смеясь, ухватилась за колени своего спутника.

«Как хорошо, — подумал он, — что по программе я задержусь в Лиме не больше трех дней. Это становится опасным».

Музей восхитил его. Он увидел вазы, такие же прекрасные, как греческие, старинные скульптуры, золотые украшения. В ивовых корзинах лежали скрюченные мертвецы, похороненные с оружием и в плащах, цвета которых — ярко-зеленый, темно-синий, гранатовый — напоминали палитру Гогена.

---

<sup>1</sup> *Диего де Альмагро* (1475–1538) — испанский конкистадор, один из завоевателей Перу.

— Я просто потрясен этим музеем, — выйдя на улицу, признался он. — Поразительно, на этом континенте, отрезанном и от Европы, и от Африки, найти излучину греческого и египетского искусства... Какие мы здесь видели вазы: примитивизм, потом классицизм, потом реализм, потом декаданс... Если бы не вмешались конкистадоры, цикл бы возобновился. Вы понимаете, моя прекрасная подруга, величие этого беспрестанного повтора? Цивилизации не просто смертны: они проживают свою юность, зрелость, старость. Мы не можем охватить взглядом весь контур нашей цивилизации, взгляд скользит лишь по касательной. Но когда в нескольких залах разворачивается полная панорама — воплощение этой цикличности, это просто... э-э... эпическое зрелище.

— Вам понравилось, Гийом? Я очень рада... А теперь, увы, пора возвращаться в «Боливар»... Наверное, Петреску уже бьет копытом. Но только сначала зайдём на минутку в церковь Магдалены... Это моя любимая.

Маленькая барочная церковь очаровала Фонтена. От алтаря вверх тянулись тяжелые витые серебряные колонны, через опаловые окна проникал перламутровый свет, Дева Мария и святые были одеты как персонажи Мурильо, но в настоящее сукно и парчу. Сотрясаемая рыданиями, какая-то женщина молилась с такой горячностью, что даже не заметила вошедшую парочку. Долорес преклонила колени на плиты и пробормотала короткую молитву. С восхищением наблюдая за нею, Гийом Фонтен чувствовал, что его уносит в какой-то иной мир, поэтичный и страстный. Ему казалось, что в его жизнь входит нечто огромное и прекрасное. На него нахлынуло счастье.

Закончив молитву, Долорес вернулась к своему спутнику.

— Судьба, — произнесла она вполголоса доверительно и серьезно. — Судьба постепенно побуждает нас проникнуть в этот огромный неведомый мир.

Несколько мгновений они стояли молча и неподвижно, словно не в силах нарушить красоту этого мгновения. Затем она медленно направилась к выходу. Когда они вернулись к гостиницу, Петреску был уже вне себя от волнения:

— Мэтр, мэтр, какой безрассудный!.. Лолита, что вы делать с мэтром? Лекция через один час... Мэтр не смочь говорить...

Но он ошибался, речь, которую Гийом Фонтен произнес этим вечером, была лучшей за всю его поездку.

#### IV

После выступления Сент-Астье пригласил Долорес, Мариту и несколько молодых перуанских писателей «выпить стаканчик в „Боливаре“», так что Фонтен, счастливый своим успехом, лег спать поздно. Он проспал несколько часов, и ему снилось, что Долорес и Полина разговаривают о нем, как добрые приятельницы. Затем Полина, во сне, принялась печатать на пишущей машинке, и ее стрекотание разбудило его. Это стучал в дверь Овидий Петреску. Фонтен пошел открывать.

— *Buenos días, maestro...* Я извиняюсь вас разбудить. Я должен убедиться, что вы не исчезнуть на целый день, как вчера... Не надо так делать, мэтр. Здесь вы не принадлежать сам себе, вы есть Гийом Фонтен, вы есть Франция... Сегодня вы обедать у президент республика, потом вы должны идти в Альянс Франсез, потом будем прием... В шесть часов министр Сент-Астье давать в честь вас коктейль в своем частный

дом... Я вам это говорить сразу, потому что Долорес Гарсиа уже звонила узнать, если вы будете гулять с ней... Я не знаю, что вы сделать с этой женщиной, мэтр! Она мне говорить: «Я никогда не встречать такой интересный человек». Я знаю, если вы захотеть, она будет с вами. Но сегодня, мэтр, у вас есть ваш долг. Простите меня...

Петреску по-прежнему разговаривал с Фонтеном, одновременно и заискивая, и сурово пеняя.

— Друг мой, — сказал ему Фонтен, — мне очень лестно слышать то, что вы сказали по поводу этой молодой женщины, но мне не нужна ни она, ни какая другая. Мне это уже не по возрасту. Даже если допустить, что она на мгновение потеряет голову, она проснется в объятиях старика. Наваждение рассеется, и я буду страдать. Вы скажете мне, что подобное страдание стоит той цены, которая за него заплачена, но ведь и другие тоже будут страдать... Вы почти не знаете госпожу Фонтен, она восхитительная женщина, и я люблю ее всем сердцем. Я не хотел бы смертельно оскорбить ее ради глаз, пусть даже таких восхитительных, едва знакомой цыганки.

— Мэтр, — ответил на это Петреску, — вы делать то, что хотите. У меня есть контракт на ваш лекции, а не на ваш любовный победы... Но будь я — это вы, я бы взял то, что мне давать. Как сеньора Фонтен узнать, что вы делать в Лима?.. Но это ваш дела, *not mine*...<sup>1</sup> Все, что мне надо, это чтобы вы быть готовы в полдень к обед у президента.

— Я буду готов, друг мой. Позвольте, я оденусь.

Едва Петреску вышел, как зазвонил телефон. Фонтен узнал низкий голос Долорес:

— *Buenos días, maestro*... Вы хорошо спали?

— Прекрасно, Долорес. Мне снились вы.

---

<sup>1</sup> Не мои (англ.).

— Правда? *Estoy contenta...*<sup>1</sup> Послушайте, Гийом, я только что разговаривала с вашим Овидием. Он мне объяснил, что сегодня вы целый день заняты. Но мне бы хотелось вновь увидеть вас, и не в присутствии толпы... В шесть часов вы идете на коктейль к грустному молодому человеку, *Encargado dos Negocios?*.. *Cómo se dice?*.. Представитель дипломатической миссии?.. Я тоже там буду... Вы могли бы сбежать часов в восемь-девять, *no?* Сбежим вместе, у меня будет машина, я повезу вас ужинать в Кантри-клуб. Согласны?

— Это будет замечательно, — согласился Фонтен. — Вы споете мне песни фламенко, прочтете испанские стихи и расскажете о себе.

— Никакой программы нет, — сказала она. — Я жду того, чего не ждешь. Не слишком скучайте среди великих мира сего. *Hasta siempre, amigo*<sup>2</sup>.

Оставшись один, он задумался. Почему она так им интересуется? Конечно, потому, что он француз, потому, что на четыре дня он сделался модной персоной, может быть, потому, что она надеется поехать во Францию. Какова бы ни была причина, это было приятно. Долорес казалась ему бесконечно более поэтичной и необычной, чем Ванда, пропитанная парижским снобизмом.

День тянулся очень долго. На обеде в президентской резиденции присутствовали генералы и адмиралы, с которыми он обменялся тостами в стиле парадных речей на праздновании Четырнадцатого июля. Их французский словарь был беден, его испанский просто никакой. Президент, человек весьма любезный и образованный, юрист, спросил его о конституции 1875 года, которую Фонтен знал плохо. Он кое-как

---

<sup>1</sup> Очень рада (*исп.*).

<sup>2</sup> Прощай друг (*исп.*).

выкрутился, рассказав несколько анекдотов о Мак-Магоне, позабавивших присутствующих. В Альянс Франсез он говорил о защите и распространении французского языка. Прием у Сент-Астье, на котором присутствовало много красивых женщин, стал для него отдыхом. Долорес тоже там была, казалась очень оживленной, пользовалась успехом, но с ним говорила мало и даже, казалось, избегала.

«Она, разумеется, не хочет, чтобы заметили нашу близость, — подумал он. — И она права».

Пару раз она дружески махнула ему издалека. У нее была странная манера морщить лоб, отчего между глаз, над носом, появлялась забавная складка. Казалось, она говорила: «Да, может показаться, что я далеко, а на самом деле здесь, совсем близко от вас». Он поджидал этих знаков и даже умудрялся отвечать на них так, что прекрасные незнакомки, разговаривающие с ним о его лекциях, ничего не замечали. Около восьми к нему подошел Сент-Астье и вполголоса произнес:

— Глубокоуважаемый господин Фонтен, окажите мне честь. Я прошу вас остаться, когда схлынет эта толпа. Я хочу пригласить несколько друзей на небольшой ужин.

— Мне очень жаль, — ответил Фонтен, — но еще утром я пообещал госпоже Гарсиа, что поужинаю с ней.

— С Лолитой?.. Я буду счастлив пригласить и ее тоже.

— Вы очень любезны, господин министр. Увы! Это невозможно. Я хочу обсудить с этой молодой актрисой одну важную вещь: гастроли во Франции, переводы...

Обиженный и уязвленный отказом, Сент-Астье холодно произнес:

— Как вам будет угодно... Но я не министр.

Мгновение спустя Фонтен кивнул Долорес, и она, сдвинув брови, кивнула ему в ответ. С наивной предосторожностью, которая никого из присутствующих не обманула, он подождал, пока она не выйдет, и стал прощаться. Ее он настиг возле двери. Дом Сент-Астье находился на краю большой оливковой рощи, при этом, как ни странно, в самом центре города. Вдаль, насколько хватало глаз, тянулись узловатые стволы аккуратно высаженных деревьев. При свете луны блестели зеленые листья с белой, почти серебристой изнанкой.

— Какая греческая красота, — заметил Фонтен. — Можно подумать, что это античная роща, по которой бродили поэты, или, может, унылый, мрачный *lucus*<sup>1</sup>, где в преисподней встречаются влюбленные. У меня такое впечатление, что, если мы с вами углубимся в этот голубоватый сад, мы забудем прошлое и больше никогда не вернемся на землю. Наверное, где-то неподалеку протекает Лета... Она катит свои благотворные воды.

— А вот и моя машина, — сказала она. — Садитесь, Гийом. Молодой человек выглядел грустным, еще более грустным, чем обычно, вам так не показалось?.. Цветы были подобраны просто божественно, и все-таки в доме чувствуется отсутствие женской руки...

— Он рассердился, потому что я оставил праздник, чтобы последовать за вами. Он хотел, чтобы мы оба остались на ужин, но ни за что на свете я не согласился бы лишиться себя этого удовольствия: сбегать вместе с вами.

— *Querido*<sup>2</sup>, — сказала она, положив руку на руку Гийома.

---

<sup>1</sup> Священная роща (лат.).

<sup>2</sup> Любимый (исп.).

Она села за руль, и машина тронулась с места.

Кантри-клуб оказался особняком в испано-мавританском стиле дворца Мирафлорес, утопающим в цветах. Долорес заняла столик на террасе. Народу было не много. Фонтен, сидя напротив, чувствовал себя спокойным, расслабленным, счастливым.

— Что вы будете есть? — спросил он.

— О, я ем так мало! Обычно красное мясо с кровью и хорошее французское вино.

Он подумал, что гастрономическими пристрастиями она походит на Ванду. Но если та набрасывалась на свой бифштекс, как тигрица, Долорес, съев два кусочка, больше не прикасалась к мясу и тянула стаканчик бургундского. Фонтен расспрашивал ее о жизни, и она рассказывала про *этансиа*, в котором она родилась, о том, как каталась без седла на лошадях, ловила животных лассо, о мощенном мозаикой патио, где пели фонтаны. Потом ее отправили в монастырь. Одна очень красивая французская монахиня, сестра Анна, привязалась к девочке и предложила ей сыграть Эсфирь, что и определило ее призвание актрисы.

— Потом я ходила на спектакли всех французских групп, которые здесь гастролировали. Денег у меня было не много, потому что я была младшей дочерью в большом семействе, как Золушка. Великая испанская актриса, приехавшая сюда на один сезон, давала мне бесплатные уроки. Она уверяла, что у меня есть талант... Да-да, именно так она и говорила, очень добрая женщина... Она умоляла меня посвятить жизнь искусству. Я вам уже говорила, что у меня... *сото се dice?*.. железная воля. Моя мать осталась вдовой и так плохо управляла поместьем, что разорила нас. Нужно было как-то жить. Я выучила несколько ролей своего ампула и в восемнадцать лет попыталась показаться в театре. Увы! Я быстро поняла, что без покро-

вителей женщины в моей стране ничего не могут. Один женатый мужчина, не слишком молодой, но красивый и очень образованный, что меня и привлекало в нем, содержал театральную труппу. Он сделал меня своей любовницей. Эти богачи, Гийом, как я их ненавижу! Они заманивают в ловушку целомудрие, красоту, юность, они требуют от женщин добродетелей, а сами не считают нужным быть добродетельными... Вы знаете стихи Альфонсины Сторни?

— Кого?

— Альфонсины Сторни. Это крупнейшая поэтесса нашего континента... Она много страдала из-за мужчин и говорит об этом с такой скорбной красотой... Послушайте, Гийом...

Она запустила в волосы длинные пальцы и с воодушевлением продекламировала:

Tu me quieres blanca,  
Tu me quieres casta,  
Tu me quieres nivea...

— Переведите, Лолита!

— «Ты хочешь, чтобы я была чистой, / Ты хочешь, чтобы я была целомудренной, / Ты хочешь, чтобы я была белоснежной, / А твои губы испачканы всякой скверной, / Ты требуешь, чтобы я была чистой (да простит тебя Бог), / Ты требуешь, чтобы я была целомудренной (да простит тебя Бог)...» Это очень длинное стихотворение, я как-нибудь вам прочитаю... Но мысль такая: «Вы, мужчины, сначала отмойтесь от нечистот и тогда, став добродетельными, требуйте, чтобы я была чистой, чтобы я была целомудренной и белоснежной...» *Bonito, no?..* У меня в машине есть томик, я вам дам. Бедная Альфонсина!.. Бедные мы!

Она содрогнулась от горьких воспоминаний.

— А потом? — спросил Фонтен после молчания, дождавшись, пока она одним глотком не осушила свой стакан.

— Потом? — продолжила она. — Потом я работала и в конце концов победила. Страдание — это путь истины. Я стала актрисой, которая была нужна мужчинам, а мне, чтобы заниматься моим ремеслом, мужчины уже были не нужны... В двадцать два года я вышла замуж за актера, которого считала великим, но он даже не был мужчиной. Я его бросила. С тех пор жила одна, жила ради искусства. Для меня были важны лишь персонажи, которых я играла... Вот так. Я стала одинокой, сильной и беспощадной... Вот я вам все и рассказала, Гийом, и хорошее, и ужасное... Я внушаю вам страх?

Она посмотрела на него и с нежной улыбкой чуть откинула голову назад.

— Страх? Я никогда не был так счастлив, — ответил он.

— Закажите мне ликер, — попросила она.

— Ликер из *лесных* ягод?

— *Sí*.

## V

Они поднялись из-за стола, и она провела его в пустую гостиную, где в камине горел огонь. Они уселись в два соседних кресла. В зеркале на стене Фонтен увидел два их отражения и был поражен, каким неожиданно молодым оказалось его лицо. Его глаза блестели, а выражение лица было таким спокойным и безмятежным, что две глубокие складки возле рта казались совсем незаметны. Впоследствии он так и не вспомнил, что же тогда говорил Долорес, кажется, что она сама поэзия. Она ничего не отвечала и смотрела на него с ласковой нежностью, печальная и пылкая. Он тоже замолчал, и они долго сидели, не говоря ни слова, глядя в глаза друг другу. Время от времени она качала головой, словно сама себе говорила

«нет», а затем вновь устремляла на него взор. Потрескивал огонь, это пело пламя. Фонтену казалось, что он в каком-то ином мире, его заколдовали и теперь он не может вспомнить, в каком городе находится. Несколько раз она открывала рот, словно собираясь что-то сказать, но не произносила ни звука. Наконец наклонилась к нему и, улыбаясь, сказала, словно это было что-то простое и не слишком важное:

— Мне кажется, я вас люблю.

Он был поражен, затоплен волнами счастья и спустя мгновение прошептал против собственной воли:

— Я тоже вас люблю.

Она закрыла глаза и сказала «ах!», словно ее поразила удар в сердце. Каким-то озарением Фонтен почувствовал, что в этом «ах!» было счастье, удивление, восхищение, страдание. «Какая великая актриса!» — подумал он. Вошел слуга, перемешал поленья в камине. Казалось, Долорес вышла из оцепенения и резко поднялась:

— Пойдем на улицу.

Луны уже не было видно. В темно-синем небе сияли звезды. Фонтен поискал глазами Южный Крест, она ему показала. Они дошли до машины и сели в нее. Перед тем как завести мотор, она повернулась к нему и подставила губы:

— *Cómo te quiero*<sup>1</sup>.

Машина тронулась. Фонтен думал: «Это нелепо, но восхитительно». Еще он думал: «Испанцы говорят „*Te quiero*“, „Я тебя хочу“, а не „Я тебя люблю“». Символично? Он не знал, где они, куда направляются. В темноте смутно вырисовывались цветущие сады, заросли утесника вдоль дороги, затем берег моря. На берегу Долорес остановилась, и на этот раз они цело-

---

<sup>1</sup> Я тебя люблю (исп.).

вались очень долго. Потом она обхватила ладонями лицо Фонтена и сказала:

— Мне кажется, у меня в ладонях все счастье мира.

В его голове едва слышный голос прошептал: «Титания».

— О чем ты думаешь? — спросила она.

— Извечный вопрос любой женщины любому мужчине.

— Но мужчины никогда не говорят, о чем они думают... Я вся твоя, а ты не весь мой... *nunca serás todo tío*.

— Как я могу быть твоим, Лолита? Я старый мужчина, отягощенный воспоминаниями. У меня есть моя страна, моя жена...

— Я запрещаю тебе говорить мне о жене, — решительно произнесла она.

Но мгновение спустя она вновь бросилась в его объятия.

— Спой мне какую-нибудь арабскую песню, — попросил он, — от твоего голоса мне и грустно, и хорошо.

— Они не арабские, а андалузские. Слушай...

Приблизив губы к губам Гийома, она тихонько, грудным голосом, с душераздирающими диссонансами запела какую-то мелодию. Так они стояли несколько минут или несколько часов. Был слышен лишь тихий монотонный шум набегающих волн.

— Ироничный голос моря, — прошептала Долорес.

Наконец Фонтен вздохнул:

— Увы, думаю, пора возвращаться... *Овидиус Назо* будет меня искать и поднимет на ноги весь город...

— Он что, надзирает за тобой? Даже ночью?

— Нет, просто он, наверное, волнуется, что меня нет в отеле. И потом, завтра мне выступать...

— Но разве ночь любви не бодрит? Меня да... Я люблю будоражить ночь... Но если настаиваешь, я тебя отвезу.

Голос был грустным и разочарованным. Когда они подъехали к «Боливару», она, приобняв Фонтена за плечи, прошептала:

— Мне подняться пожелать тебе спокойной ночи?

— Не искушай меня, *querida*, — (это слово он произнес робко и неуверенно). — Любить меня долго ты не сможешь. Я стану ревновать, мучиться... И потом, я поклялся жене...

— Опять жена! — раздраженно воскликнула она. — *Buenas noches, maestro*.

Он хотел поцеловать ее, но она отвернулась. Едва он вышел из машины, она резко тронулась с места. Когда он оказался у стойки администрации (многочисленные ключи от номеров на гвоздях напомнили ему таблички с выражениями благодарности, вывешиваемые в церкви), ночной портье протянул ему письмо. Он открыл его в холле, это было письмо от Полины. Холодное, безликое письмо, отпечатанное на машинке. Описание полученной в его отсутствие корреспонденции, рассказ об ужине у Ларивьеров и о другом ужине, у супругов Сент-Астье: «Они сказали мне, что их сын — советник посольства в Перу, так что чуть позже я узнаю от них о том, как прошли ваши выступления в Лиме».

«Вот так! — подумал Фонтен. — Лишь бы он не проболтался!.. А собственно, о чем он может рассказать? Ничего ведь не было, и, увы, ничего не будет».

Оказавшись у себя в номере, он тут же лег в постель, но уснуть не мог. Этот вечер он вспоминал как прекрасный сон, внезапно обернувшийся кошмаром. Казалось, он чувствует в своих объятиях гибкое тело, светлые волосы у своей щеки, губы, прильнувшие к его губам. «Боже мой! — думал он. — Как же я был

глуп! Если бы я пожелал, сейчас она лежала бы рядом со мной. Она стала бы моей, она говорила бы мне трогательные слова, преисполненные нежной и трагической поэзии. Как я мог отказаться от этих часов, подобных которым у меня никогда не будет?»

Он вспомнил женщину, которая когда-то говорила ему: «Как же глуп тот, кто не умеет пользоваться мгновением!»

«И ради чего? Из преданности женщине, которая, и это очевидно, уже не придает никакого значения чувственной стороне нашей жизни? Находясь далеко от меня, она пишет мне холодное письмо без единого слова нежности, за исключением формальной вежливости в конце... Разумеется, я люблю Полину, но разве я виноват, что она так изменилась? Разве я оскорбил бы Полину, если бы провел с этим божественным созданием восхитительную ночь, у которой все равно не было бы продолжения? Ведь через два дня я уезжаю. Безумец тот, кто не умеет пользоваться мгновением!»

В горячечном возбуждении он метался по постели, напрасно пытаясь отыскать прохладное местечко.

«Пользоваться мгновением? Что это значит? Мгновение не бывает единственным. Если бы я отведал это наслаждение, я бы пытался испытать его вновь и вновь. Я вернулся бы в эту страну или позвал Долорес во Францию. Я бы преследовал эту актрису по всему миру. И долго бы ты смогла терпеть меня, Лолита? Ты любишь будоражить ночь, а я этого не смог бы. В твоей жизни появились бы молодые люди, повели бы тебя танцевать. Вскоре ты вместо любви предложила бы мне дружбу, привязанность. Но я бы отверг их, потому что мне довелось познать твою любовь, между тем как сегодня то, что ты дала мне и что было всего лишь невинным сновидением, кажется мне бесценным».

Но он сам одернул себя: «Какое малодушие! Эта боязнь страданий... Она совсем другая... какая бесхитростная смелость в этом даре, который она мне предложила! Но почему? Что могу я сделать для нее? Послезавтра я уезжаю навсегда... Она меня в самом деле любила? Этого не может быть... И все-таки...»

Он зажег свет и попытался читать. Лолита сунула ему в карман небольшой томик стихов, он искал его, открыл наугад и был поражен, что без труда понимает эти испанские стихи. «Это чудо, подаренное цыганкой, или я просто раньше никогда не пытался?» Его внимание привлекло название одного сонета: «Ответ маркизы на стансы Корнеля». Странное совпадение.

Маркиза, я смешон пред вами,  
Старик в морщинах, в седине,  
Но согласитесь, что с годами  
Вы станете подобны мне...<sup>1</sup>

Сонет был прекрасным, вывод горьким: «Ты говоришь мне, великий поэт, что моя красота увянет и мое имя быстро будет забыто, если в обмен на бессмертные строфы, которые меня воспевают, я отвергну поцелуй старого рта... Ты так слеп, что веришь в бессмертие твоих стихов?»

— «*Поцелуй старого рта*», — повторил он и содрогнулся от отвращения.

Прости меня, старик, но юные лобзанья  
Мне больше по душе, чем песни и стихи.

Он подумал, что, подсунув ему этот «псалтырь разочарований», Долорес дала ему не только страдание, но и лекарство от страдания. Как, должно быть, она ненавидит его сейчас! Увидит ли он ее еще раз перед отъездом в Боготу? Без конца ворочаясь на постели,

---

<sup>1</sup> Перевод М. Квятковской.

он сочинял письмо для нее: «Я осмелился вас отвергнуть лишь потому, что восхищаюсь...» Нет, любое слово, означающее предложение и отказ, было бы оскорбительным... Сделать вид, что не понял намека? Или вообще ничего не писать и попытаться забыть? Увы! Разве можно когда-нибудь позабыть эти минуты? Ему удалось заснуть лишь на рассвете.

## VI

На следующее утро одновременно с завтраком ему принесли письмо Петреску: «Мэтр, я ждал вас до двух часов утра. Мне было *абсолютно* необходимо вас увидеть, потому что в программе произошли изменения. Мне позвонили из комитета Боготы, я должен немедленно отправиться туда для решения срочных вопросов, это по поводу театра. Мне *необходимо* уехать (одному) *сегодня*, самолет отправляется в шесть часов. Мне осталось спать три часа. Вы присоединитесь ко мне, как и было условлено, завтра утром. Ваш билет у консьержа, а также паспорт, виза, все. Мэтр, *умоляю*, вы не должны задерживаться из-за *кого бы то ни было*. Под угрозой моя репутация: зал уже заказан, афиши напечатаны, места распроданы заранее... Ваша вторая лекция в Лиме состоится сегодня в шесть тридцать в Национальном театре. Эрнандо Таварес в курсе всего. Ложитесь спать не слишком поздно, потому что вы должны выехать в аэропорт из отеля „Боливар“ в пять часов утра. Если вы не приедете, я обещен. С почтительным поклоном, Овидий Петреску».

Мысль о том, что придется путешествовать одному, очень встревожила Фонтена. Во Франции он никогда этого не делал, к тому же не он сам, а Поли-

на всегда заказывала для него билеты, нанимала носильщиков, занималась всякими формальностями. «Бедная Полина! — вздохнул он. — Деспотичная и незаменимая». Затем он вновь принялся мысленно переживать необыкновенный вчерашний вечер.

«Увы! Нет никаких сомнений, я влюблен...»

Эта мысль показалась ему нелепой, но избавиться от нее он не мог. Почему эта чудесная девушка предложила себя старику? Он подошел к зеркалу, стал наивно вглядываться в свое отражение и был удивлен, увидев такое счастливое лицо. «Фауст? — подумал он. — Мне стоило бы заключить сделку с дьяволом?.. Слишком поздно... Вчера вечером я совершил непоправимую ошибку, отказался от того, чего желал сильнее всего на свете, а завтра я должен уехать, все кончено... „Ироничный голос моря“, — сказала она... И это нежное обращение на „ты“...» Потом он начинал убеждать себя: «Так лучше. В любом случае с моим отъездом наваждение бы рассеялось. По крайней мере, вернувшись, я смогу честно посмотреть в глаза Полины».

Когда телефон зазвонил, он, стоя в халате, начал уже укладывать чемоданы. Неужели она все поняла и простила его? Он подбежал к аппарату. Звонили из французского посольства:

— Господин Фонтен?.. Минутку, с вами будет говорить временно исполняющий обязанности дипломатического представителя...

Он вспомнил, как забавно Долорес произносила: «*El señor Encargado de Negocios*». Потом услышал голос Сент-Астье:

— Глубокоуважаемый господин Фонтен, нам стало известно, что ваш импресарио сегодня утром уехал... Вы остались одни. Не будет ли вам угодно в компенсацию за вчерашний ужин пообедать со мной сегодня?

После небольшой паузы он добавил:

— Я пригласил Лолиту Гарсиа и некоторых ее друзей.

— Она согласилась? — спросил Фонтен с тревогой, которая, должно быть, показалась юному Сент-Астье весьма смешной.

— А почему бы ей не согласиться? — ответил дипломат, не скрывая иронии. — Ведь я ей сказал, что обед будет организован в вашу честь... Могу я на вас рассчитывать?

— Разумеется, господин министр... Вы чрезвычайно добры.

— Тогда в половине второго, глубокоуважаемый господин Фонтен... Только я *не* министр.

Необыкновенная радость, смешанная с беспокойством, охватила Гийома Фонтена. Значит, она согласна увидеться с ним вновь. Не для того ли, чтобы продемонстрировать ему свое презрение? «Не важно, — подумал он. — Главное, что я еще раз могу испытать это наслаждение: увидеть ее и почувствовать власть ее обаяния. Должно быть, она прекрасна даже в гневе». Все утро он перечитывал стихи, которые она ему оставила; он находил их прекрасными и сам не мог различить, кем восхищается больше: поэтессой или дарительницей. В час дня он вызвал такси и, охваченный волнением, вновь проделал путь до оливковой рощи.

Гостями Сент-Астье были: супружеская чета из постоянного состава дипломатической миссии, ректор Университета Сан-Маркос с супругой, Эрнандо Таварес и очаровательная Марита. Фонтен с волнением обнаружил, что Долорес нет. Она явилась с большим опозданием и извинилась, объяснив, что задержалась из-за формальностей с визой.

— С визой? — переспросил Таварес. — Ты уезжаешь?

— Я должна лететь в Боготу, мы ставим там *ауто*, которое играли здесь... Мы обсуждали это уже месяц, а сегодня утром я получила телеграмму... Завтра у меня самолет.

— У меня тоже, — удивился Фонтен. — В шесть утра.

— Ну да, в шесть утра. Как хорошо, *maestro*, что мы путешествуем вместе! — воскликнула она с естественной непринужденностью.

— В самом деле, какое счастливое совпадение, — бесстрастно произнес Сент-Астье. — А то мы беспокоились, что господин Фонтен, который не говорит по-испански, вынужден лететь один. Вы будете его переводчицей, Лолита. Мы вам его доверяем.

Она шутливо поклонилась:

— *Señor Encargado de Negocios*, я в вашем распоряжении.

— Я тем более доволен, — продолжал Сент-Астье, — что на прошлой неделе госпожа Фонтен ужинала у моих родителей в Париже и передала для меня некоторые рекомендации по поводу здоровья господина Фонтена... Ваша печень не пострадала из-за нашего климата?

— Вовсе нет, — ответил Фонтен, — никогда еще я не чувствовал себя лучше.

— Не помню, говорил ли я вам, — сказал Таварес, — что наши журналисты удивляются, как вы молодо выглядите.

Лолита не смотрела на Гийома, но, когда гости сели за стол, он оказался рядом с нею и тихо спросил:

— Вы не сердитесь на меня?

Еще произнося эту фразу, он чувствовал, как неловко она звучит, но Долорес ответила с искренним удивлением:

— Я?.. Но за что мне на вас сердиться?

После обеда, весьма оживленного, где Фонтен всех очаровал своими рассказами о путешествии в Бразилию и Аргентину, Лолита, которая по просьбе *Señor Encargado de Negocios* принесла гитару, стала петь. Гийом Фонтен не понимал слов, но она смотрела на него и, казалось, пела только для него. Сент-Астье и Марита незаметно обменялись улыбками, Лолита заметила это, а Фонтен нет. Когда ректор с супругой откланялись, Сент-Астье предложил отвести Фонтена в «Боливар». Он не стал отказываться.

— Тогда до завтра? — сказал он Лолите.

— Да, завтра в шесть в аэропорту, если только вы не согласитесь, чтобы я заехала за вами в гостиницу.

— Позвольте, глубокоуважаемый господин Фонтен, послать за вами машину посольства, — предложил Сент-Астье.

— Спасибо, господин министр, принимаю ваше предложение. Не хочу осложнять отъезд госпожи Гарсиа.

Вернувшись в гостиницу, он нашел три пакета и записку от Долорес Гарсиа. Там были: женское серебряное стремя, старинное, украшенное с большим вкусом, сборник пьес Федерико Гарсиа Лорки и фотография Лолиты, окутанной покрывалом, в образе неприкаянной души, с таким посвящением: «Гийому Фонтену, *compañera*»<sup>1</sup>. Его очень тронуло, что в день отъезда она собрала столько предметов, которые могли бы доставить ему удовольствие. «А это путешествие, о котором она прежде не говорила, — думал он, тщетно пытаясь застегнуть чемоданы, — она придумала его, чтобы полететь со мной?.. Что же она тогда сказала, выходя из церкви?.. Судьба постепенно

---

<sup>1</sup> Подруга (*исп.*).

побуждает нас проникнуть в этот огромный неведомый мир... Мне кажется, она делает все, чтобы помочь судьбе... Но зачем? Чего она от меня хочет?»

За обедом ректор говорил о Дон Кихоте и Пансе, излюбленная тема в Испании. «Во мне, — думал Фонтен, — живет такой Санчо, он питает недоверие к чудесному приключению и боится быть нелепым старикашкой в глазах грустного юноши, а еще больше боится того, что тот напишет во Францию... И потом, есть еще рыцарь-романтик, у которого по-прежнему сердце двадцатилетнего и ему бы так хотелось уступить этому вихрю страсти, который его подхватил и уносит... Будь что будет! Там посмотрим...»

Пора было отправляться в Национальный театр. В зале среди довольно многочисленной публики сидели Таварес и Сент-Астье, Лолиты не было. Это было вполне понятно, ей ведь тоже нужно было собираться. Но ему стало грустно, всем показалось, что этим вечером он говорил хуже, чем в первый раз. Он попрощался с Сент-Астье, который извинился, что по причине слишком раннего времени не сможет завтра приехать проводить его в аэропорт, и вернулся в гостиницу, чтобы закончить приготовления к отъезду. Серебряное стремя никак не влезало в чемодан, он пытался упаковать его, когда трель телефонного звонка заставила его подскочить.

«Долорес, — подумал он. — Она не придет...»

Это и в самом деле была Долорес.

— *Buenas noches, querido*. Хороших тебе снов. Я только хотела тебе сказать: *Seras mío y soy tuya*. Ты понимаешь, *no*?

Каким-то чудом он все понял. Она уже повесила трубку.

«Ты будешь моим, я буду твоей». Нельзя сказать, чтобы он решился на это неожиданное приключение

с легким сердцем. После истории с Вандой он поклялся быть верным мужем. И вот он оказался вовлечен в ситуацию опасную, двусмысленную, в которой никогда не сможет быть искренним до конца. Хотел ли он этого? Он сам не знал и, повторяя: «Будь что будет», он заснул.

## VII

На взлетном поле было еще совсем темно. Виднелись лишь дрожащие огоньки вдоль взлетной полосы и бортовые огни немногочисленных самолетов. Носильщик-индеец взял у Фонтена чемоданы и произнес какие-то непонятные слова. Гийом поискал глазами Долорес. Ее еще не было.

— Божота, — повторял он молодому человеку за стойкой в серо-голубой униформе, когда на его плечо нежно легла ладонь. Ласкающий голос Долорес произнес:

— *Buenos días*, Гийом... Вам помочь?

Фонтен не стал сопротивляться и вверил себя ее заботам. Молодые люди в униформе, казалось, превратились в послушных пажей, счастливых исполнять приказы Долорес Гарсиа. Таможенник даже не посмотрел багаж. Служащий паспортного контроля поприветствовал их. Начальник аэропорта велел стюардессе выделить два соседних места сзади.

— А вы здесь популярны, — обратился Фонтен к Лолите. — Не то чтобы меня это удивляло, просто ваше могущество, похоже, не знает границ.

— Они меня все видели в какой-нибудь роли, — весело объяснила она. — Я им даю билеты на спектакли. Они мне признательны.

Затем приблизилась к нему, наморщив носик:

— Мы больше не на «ты»?

Ничего не изменилось. Голос из громкоговорителя позвал пассажиров на рейсы до Кито, Кали, Боготы. Минуты спустя он уже сидел рядом с нею в салоне самолета, гудели винты. Еще более, чем когда-либо, все происходящее казалось ему сном. Может, он летит в свадебное путешествие с феей? За ними сидела супружеская пара из Лимы, они узнали Лолиту и стали спрашивать ее о путешествии. Она представила Гийома Фонтена. Женщина присутствовала накануне на лекции, она сказала:

— Я вам очень благодарна.

— Бедный Гийом, — лукаво прошептала Долорес, — тебе невозможно путешествовать инкогнито. Как я тебя понимаю.

Через проход какой-то священник читал свой требник и время от времени украдкой поглядывал на Долорес.

— Ты для него развлечение, — сказал Фонтен.

— А как мне развлечь *тебя*?

— Меня? Я мог бы молча смотреть на вас всю жизнь... И был бы абсолютно счастлив.

— Ах!

Такие «ах!» он называл прихотью сердца. Затем она поправила его: «Смотреть на *тебя*», и Гийом извинился.

Она прижалась к нему:

— Как мне хорошо! Мне кажется, я знаю тебя всю жизнь...

— Любовь, — сказал он, — словно по волшебству, рождает воспоминания о чудесном прошлом, хотя прошлое вовсе не обязательно было чудесным.

Парочка сзади наблюдала за ними и перешептывалась. Когда самолет стал взлетать, Долорес перекрестилась.

— Не хочу умирать *до*, — сказала она. — В Боготе мы будем жить в одной гостинице: «Гранада».

— Откуда ты знаешь?

— Я звонила.

— Мы сможем ходить друг к другу в гости, — робко произнес он.

Она с нежностью посмотрела на него:

— Надеюсь... Но только не сегодня, сегодня мы прилетим очень поздно вечером и будем совершенно без сил. А вот завтра... Ты только не принимай никаких официальных приглашений на этот вечер, это будет *наш* вечер. Изволь со мной считаться!.. Я ведь цыганка: я знаю ужасные проклятия.

Ее подвижное лицо приобрело трагическое выражение, а брови нахмурились. Он засмеялся:

— Ты во все это веришь?

— Не смейся, — взволнованно отозвалась она. — Если ты когда-нибудь меня разлюбишь...

Она опять сделалась ласковой и веселой, заговорила о пьесах, в которых играла:

— Ты не можешь себе представить, как любая роль меня преображает. На неделю, на две недели я становлюсь этим персонажем. Знаешь, когда я была Сильвией в пьесе Бенаvente<sup>1</sup> «Игра интересов», я, даже вне сцены, ощущала себя чистой и нежной девушкой. Когда я играла «Тессу» вашего Жироду, я была грустной и задумчивой, в «Йерме»<sup>2</sup> я чувствовала, что способна убить... Если ты хочешь, чтобы я стала той женщиной, которая тебе нужна, напиши для меня роль. Из собственных плоти и крови ты создашь Лолиту, которая будет тебе по душе, понимаешь? А я проживу эту роль ради тебя... Но автор, который мне ближе

---

<sup>1</sup> Хасинто Бенаvente-и-Мартинес (1866–1954) — испанский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1922).

<sup>2</sup> Пьеса Ф. Г. Лорки.

всех, это Федерико. Он как раз понимал, что испанская женщина в большей степени мать, чем супруга или любовница. Ей нужен сын, который продолжит род и, если понадобится, сможет отомстить. Для нее худшее из несчастий — это бесплодие. За отца своего будущего ребенка она цепляется изо всех сил.

Внезапно страстно сжав руку Фонтена, она вонзила ему ногти в ладонь:

— Я хочу от тебя сына, Гийом!

Пораженный, слегка напуганный, Фонтен ничего не ответил. Вставало солнце. Через иллюминатор видна была пустыня розового песка, вдалеке — океан.

— В вашей стране, — сказал Фонтен после довольно долгого молчания, — на мораль оказали влияние одновременно и мавры, и Католическая церковь. Церковь осуждает удовольствия и благословляет произведение на свет потомства. Господу нужно поклоняться, а для этого нужны живые существа.

— *Claro que sí*, — серьезно ответила она.

В самолете становилось все теплее. Долорес склонила голову на плечо Фонтена и задремала. Он был счастлив и смущен. Молодой священник украдкой бросал удивленные взгляды на эту странную пару. Перуанское семейство сзади, приятели Долорес, тихонько разговаривали по-испански, и несколько раз Фонтен с беспокойством услышал собственное имя.

«Надо бы как-нибудь побороть в себе социальный инстинкт, — подумал он, — и просто наслаждаться этой чудесной свободой... Удивительная девушка! Гениальная и наивная...»

Когда самолет, подлетая к Кито, стал снижаться, она открыла глаза:

— Ты был в Кито? *No*? Как жалко. Мне бы хотелось показать тебе город.

Во время этой промежуточной посадки Фонтена обступили журналисты, которых предупредил Петреску. Долорес стала переводить.

— А вы кто? — поинтересовались они у нее.

Она повторила вопрос Фонтену:

— Что им ответить? Секретарша? *Сотраñера*?

Он поднял глаза к небу:

— Нет-нет, это слишком!.. Скажи правду: мы не путешествуем вместе, мы случайно встретились в самолете и вы были так любезны, что согласились помочь бедному невежде, который не говорит по-испански.

— Гийом, — сказала она, погрозив пальцем, — ты стыдишься меня!

— Нет, просто опасаясь журналистов... Еще бы! Если слухи докатятся до Парижа...

— И что, если выяснится, что тебя любит молодая женщина, ты будешь опозорен?.. Так, *по*? Странные у тебя во Франции друзья!

Она объяснила репортерам, что летит в Боготу по своим собственным делам, и назвала себя. Раздались восхищенные возгласы:

— Долорес Гарсиа! Ну да, конечно, мы же вам аплодировали тысячу раз!.. Мы просто вас не узнали... Все-таки у сцены своя оптика... А вблизи вы еще красивее...

Она явно интересовала их больше Гийома Фонтена, и, пока не объявили посадку, журналисты оживленно беседовали с актрисой. В самолете, вновь сев на соседнее с Фонтеном место, она помогла ему застегнуть ремень, потому что он никак не мог отыскать половинку:

— Бедный Гийом! Что бы ты делал без меня? Знаешь, что написал один из этих мальчиков: «Прекрасная актриса скрашивает осень писателя...» Хорошо, что я вовремя заметила и велела стереть. Что бы ска-

зали в Париже?.. И что скажут в Париже, если я когда-нибудь там появлюсь? Знаешь, Гийом, это мое самое сильное желание.. *Mira, guerido...* Я столько думала о Париже, изучила план города, столько посмотрела картинок, что, если бы я приехала туда, мне не нужен был бы никакой гид... Слушай, я бы поселилась в отеле на Вандомской площади...

— Неплохо, — сказал он.

— Выйдя из отеля, я повернула бы направо, на улицу де ла Пэ...

— Нет, на улицу Кастильоне, но, в общем, вы правы: одна улица является продолжением другой.

— Ты прав, — уточнила она. — Потом я бы попала на улицу Риволи. Идя по ней под аркадами вдоль сада Тюильри, я бы дошла до площади Конкорд. Я бы увидела Сену, Елисейские Поля и весеннее солнце в дымке... Может быть, пошла бы в квартал Сент-Оноре и разглядывала бы витрины... Мне хочется всего сразу...

— А рядом с тобой, — сказал он, — будет влюбленный старый господин, который все тебе станет покупать.

— Он совсем *не* старый, Гийом, не хочу, чтобы ты дурно отзывался о моем возлюбленном... Он напишет для меня пьесу, которую поставят в театре на Елисейских Полях, и я стану знаменитой на всю Европу... *Es bonito, no?*

За этой ребяческой болтовней они не заметили, как прилетели в Кали, и даже эквадорская жара, ввергшая прочих пассажиров в бесчувственное оцепенение, показалась им не такой тягостной. Здесь они пересели на другой, маленький самолет, летевший до Боготы. За окнами иллюминаторов расстилался красивый пейзаж, хотя лететь было страшно. Самолет почти задевал остроконечные горные вершины, сколь-

зил между склонами скал, преодолевал все более высокие хребты.

— Богота находится на высоте тысяча восемьсот метров над уровнем моря, — пояснила она. — В прошлый раз, когда я здесь была, то едва могла играть сложные роли, я просто задыхалась.

Когда самолет приземлился, их встречали две группы людей. Фонтена приветствовал Петреску, секретарь французского посольства и представитель Министерства иностранных дел Колумбии Мануэль Лопес; а Долорес Гарсиа встречали директор театра, артисты, драматурги, все они целовали ее, дружески похлопывая по спине:

— *Qué tal, Lolita?*

Каждое мгновение щелкали фотоаппараты, и на время короткой вспышки становился виден притаившийся фотограф. Деловитый, суетливый Петреску уже договаривался о пресс-конференции в «Гранаде», несмотря на протесты Фонтена, падающего с ног от усталости.

— Только пять минут, мэтр... Мануэль Лопес нас отвести на машине... Он будет переводить.

Овидий казался раздраженным и даже позволил себе упрёки:

— Лолита? Мэтр, мэтр, вам не надо беспокоиться больше Лолита, у нее тут мужчины, который о ней беспокоиться.

От этих слов на душе у Фонтена стало тревожно. Молодой секретарь посольства передал несколько сообщений, приглашение на обед и на ужин, и то и другое на завтрашний день, а это было воскресенье. Фонтен сказал, что надо бы устроить выходной день, и попросил представителя посольства перенести первый прием на вечер понедельника.

— Ах, мэтр, мэтр, — вздохнул Овидий. — Я знаю, что это за выходной.

В машине Мануэль Лопес, который сам был поэтом, принялся читать наизусть Бодлера. «Вот увидишь, в Колумбии больше говорят о поэзии, чем о политике», — еще в самолете говорила ему Лолита. В первый же вечер Фонтен убедился, что так оно и есть.

## VIII

Он уснул глубоким сном без сновидений, как бывает от усталости. Проснулся он бодрым и отдохнувшим, с гор дул свежий ветер. С улицы раздавался колокольный звон, призывающий на воскресную мессу. Он распахнул ставни, увидел огромную площадь, утренние толпы, берущие приступом трамваи, а над крышами купола высоких гор, словно перечеркнутые фиолетовыми облаками. В его гостиничном номере было две комнаты: спальня с простой мебелью — широкая медная кровать, комод, кресло, и более просторная гостиная с письменным столом и большим диваном. Его первой мыслью было: «Прекрасно. Я смогу принимать Долорес у себя в гостиной, и не будет никакого скандала».

Где была она, *compañera*? Ему захотелось услышать ее голос, и он взглянул на часы. Наверное, уже проснулась. Как бы это выяснить? Он снял телефонную трубку и, когда соединился с коммутатором, спросил, говорит ли кто-нибудь по-французски.

— *Francès?* — переспросил женский голос. — *Momento.*

К аппарату подошел мужчина. Фонтен спросил, в отеле ли сеньора Долорес Гарсиа и как можно ей позвонить. Он выяснил, что она занимает номер 19, и через секунду услышал ее сонный ласковый голос:

— *Quién habla?*<sup>1</sup> О, это ты, Гийом?.. Здравствуй, любовь моя... Да, ты меня разбудил, но это даже хорошо... Мне нравится, что твой голос меня будит... Ты уже готов? *No?* Я тоже еще нет!.. Я голая. Дай мне немного времени, я приму ванну, разберу чемоданы, оденусь и потом постучу в твою дверь... Слышишь эти колокола, любимый? *Bonito, no?* Я должна пойти к мессе. Ты пойдешь со мной... *Hasta pronto!* До скорого.

Час спустя в дверь гостиной осторожно постучали. Гийом пошел открывать и увидел Долорес с покрытыми мантильей волосами. Вид у нее был задорный и шаловливый.

— Можно войти на минутку?

Когда он закрыл дверь, она бросилась ему в объятия.

— Ты великолепен этим утром, — сказала она. — С каждым днем ты моложе на десять лет... Теперь давай подумаем, что будем делать сегодня. Ты свободен?

— *Собой владею я, и мир покорен мне*<sup>2</sup>. И даже немного больше... Мне удалось этого добиться с большим трудом. *Овидиус Назо* очень рассердился. Он приготовил для меня целую программу. Он тебя не любит!

— Он полюбил бы меня, если бы я сама этого захотела, — сказала она, показывая белые зубки. — Пусть остерегается! В общем, ты свободен... Итак, *mira*, Гийом. Вот что я тебе предлагаю. Мы вместе пойдем на мессу. Потом прогуляемся по городу и пообедаем у доньи Марины. Это... *cómo se dice?* не совсем ресторан.

---

<sup>1</sup> Кто говорит? (исп.)

<sup>2</sup> Цитата из трагедии П. Корнеля «Цинна» (перевод Вс. Рождественского).

— Таверна?

— Да, что-то вроде... Такой испанский ресторанчик, и хозяйка просто очаровательная. Там обедают художники, поэты, тореро... Только не смейся, я запрещаю тебе, тореро тоже поэты... Сегодня вечером здесь, в Боготе, будет коррида *тапо а тапо*, только два тореро... Мне вчера вечером сказали, что это два испанца, очень хорошие тореадоры... Я хотела бы сходить туда с тобой. Почему ты морщишься, любимый?

— Не люблю подобные зрелища. Я надеялся провести этот день с тобой, здесь.

— *Cómo te quiero!*<sup>1</sup> Этой ночью мы будем одни, я тебе обещаю, но я очень хочу пойти на корриду вместе с тобой, как мне хотелось бы играть перед тобой Лорку... Я тебе уже говорила, коррида для меня — это чувственное удовольствие. А после ужина мы будем делать все, что ты хочешь.

Идти по улице рядом с ней было счастьем. Она цеплялась за его руку, изображала танцевальные па, останавливалась перед витринами, рассекала угрюмую толпу женщин монашеского вида, в черных мантильях и юбках. Окна с выпуклыми решетками напоминали Лиму и Севилью. По узким улочкам струился поток автомобилей и пешеходов. Мужчины смотрели на Лолиту. Фонтен удивился, когда в церкви она бросилась на колени на плиточный пол и долго оставалась неподвижна. Когда она поднялась, глаза ее были полны слез. Под конец мессы она еще помолилась в приделе Святой Марии, в золоте и пышных украшениях, а затем потеряла о церковную раку ключи, которые вынула из сумки.

— Надо благословить ключи, — серьезно произнесла она, — чтобы они открыли дверь, ведущую к счастью и спасению души... Ты не знал?

---

<sup>1</sup> Как я тебя люблю! (исп.)

Донья Марина была испанкой, приехавшей сюда по не совсем понятным причинам, выглядела она внушительно и величественно. Писателя и известную актрису она приняла за влюбленную парочку, что успокоило Фонтена. «Значит, я не выгляжу как ее отец», — подумал он. Лолита и хозяйка щебетали по-испански так быстро, что он не понимал ни слова. После одной фразы Лолиты хозяйка посмотрела на него с одобрительным видом и произнесла какие-то слова.

— Она говорит, что тебе повезло, но и я сделала хороший выбор.

Плаза де Торос походила на испанские арены. Длинные вереницы мужчин и женщин осаждали окошки касс. Лолита подвела Фонтена к человеку, который, стоя чуть в отдалении, очень дорого продавал забронированные места.

— Я люблю сидеть поближе, — сказала она, — чтобы каждый жест был виден. В этих движениях бедер, развороте ступней — такая красота.

Она купила два места на теневой стороне. Напротив, на солнечной стороне, копошился простой народ в одежде ярких цветов. Оркестр громко играл танцевальные мелодии. Над ареной возвышались горы, скалистые конусы чередовались с зелеными склонами, перечеркнутыми облаками — от розовых до фиолетовых. На одной из вершин вырисовывались белые очертания церкви, такой странной и неожиданной здесь, светлой и воздушной.

— Монсеррате, — пояснила Долорес.

Когда на арене в сопровождении альгвасилов появился *пасео* и с традиционными приветствиями подошел к распорядителю, чтобы попросить у него ключи от загона, она, дрожа от радости и возбуждения, положила свою ладонь на ладонь Гийома.

— Как я счастлива.

Фонтен с облегчением увидел, что пикадоров на арене нет. Значит, он будет избавлен от бойни с развороченными тушами быков. Умерщвление быка делалось процедурой более сложной, но тореадоры были ловкими и умелыми, а быки не очень. На солнечной стороне группа *афисьонадос*, любителей корриды, что-то дружно скандировала. После первого быка, когда матадор под рукоплескания толпы делал круг почета, приветствуя зрителей, мужчины стали бросать на арену шляпы. Лолита кричала, опьяненная радостью.

— Если бы у тебя было жемчужное кольцо, — спросил Фонтен, — ты бы ему бросила?

— Да, — ответила она, — люблю храбрость.

— И ты не испытываешь отвращения, когда из ноздрей несчастного животного начинает хлестать кровь?

— Отвращение? Я обожаю это! Посмотри на Родригеса... Какой красивый мальчик, мужественный профиль.

Второй бык защищался лучше, и она закричала: «*Bravo, toro!*» Она завязала оживленный разговор с людьми, сидящими рядом с ними на ступеньке амфитеатра; они, признав в ней особу компетентную, говорили страстно и увлеченно. Внезапно, когда Родригес убил своего второго быка (а всего с начала корриды это был третий), она схватила за грудь и, задыхаясь, сказала:

— Гийом, уведи меня отсюда... Мне нехорошо.

Он очень испугался, вскочил с места и подал ей руку. Солдат помог им пройти сквозь толпу. Оказавшись на залитой солнцем пустынной площади, она на мгновение оперлась о стену. Облака, расцвеченные солнечными лучами, казались сполохами над Андами.

— Не бойся, ничего страшного, — сказала она. — Со мной такое уже было, причем в этом же самом городе. Наверное, из-за большой высоты, или пыль с арены, может, запах быков...

— Но в чем дело, Лолита? Это сердце?

— Нет, не сердце. Что-то вроде астмы на нервной почве... У меня лекарство в гостинице. Вызови такси, *querido*, поедem скорее в «Гранаду».

Когда они приехали в отель, она задыхалась.

— Иди к себе в номер и жди меня, — сказала она. — Я приму лекарство и приду к тебе...

## IX

Через десять минут Лолита постучала в дверь гостиной. Она переоделась в брюки и голубой свитер. Гийому она показалась еще красивее, чем обычно, но ходить ей было трудно.

— Садись на диван, — сказала она. — Обними меня и расскажи что-нибудь или почитай стихи... Лекарство довольно сильное, меня от него трясет и трудно говорить... Но мне нравится сидеть рядом с тобой и слушать.

Лолита расслабилась у него в объятиях, словно больной ребенок, закрыла глаза. Он, по ее просьбе, стал читать стихи. Он знал наизусть Мейнара, Ронсара, Корнеля, Расина, Бодлера, Верлена. Когда он прочел: «Не знаю, чем меня околдовали вы...»<sup>1</sup>, она открыла глаза и улыбнулась ему:

— Ты так добр ко мне... Знаешь, я к этому не привыкла... Когда мне плохо, я почти всегда остаюсь одна, это так страшно.

---

<sup>1</sup> Цитата из трагедии П. Корнеля «Полиевкт».

К вечеру приступ, похоже, прошел.

— Гийом, ты никогда не писал стихов? — спросила она.

— Нет. То есть писал, лет в двадцать, как все, но это не мой способ выражения.

— Я хочу, чтобы ты написал для меня стихи.

— Они будут, увы, недостойны тебя... Ты пойдешь ужинать?

К немалому удивлению Фонтена, она сказала, что сейчас оденется и они вместе отправятся в «Темель», один изысканный ресторан в Боготе. Как только она ушла, появился Петреску. Он пришел сообщить планы на завтрашний день:

— Мэтр, ваша лекция, она в шесть часов... Мануэль Лопес вас приглашать обедать на водопад Текендама. Вы должны соглашаться, мэтр. Это великолепный, а эти славные люди очень хотят показать вам страну. Они обидятся, если вы не согласитесь. Я знаю, почему вы хотите быть один, то есть вы не один... Не спорьте, мэтр, Петреску не дурак, он не слепой... Я знаю... Но другие, они не знают... Еще не знают... Сегодня я им говорил: он устал от путешествия, а завтра?

— Друг мой, — сказал Фонтен, — я охотно соглашусь, если вы пригласите Долорес тоже.

Петреску тяжело вздохнул, принял страдальческий вид и пообещал, что Долорес будет приглашена тоже.

— Итак, мэтр, выходить в одиннадцать часов... Может, сегодня вечером ужинать с...

— Нет, друг мой, — решительно сказал Фонтен, — на сегодня я ничего не хочу, только покой.

После ухода Петреску он долго ждал Долорес, наконец сам отправился к ней и постучал в дверь. Она сидела в кресле и, казалось, дремала. По всей комнате была разбросана одежда.

— Прости, Гийом, я слишком долго?.. Когда я причесывалась, у меня опять заколотилось сердце, но я готова... Пойдем...

В ресторане она, по своему обыкновению, заказала бифштекс и «хорошего французского вина», съела пару кусочков мяса и выпила всю бутылку. Затем она выкурила много сигарет, несмотря на протесты Гийома, который утверждал, что табак усугубляет удушье.

— *Tesoro*<sup>1</sup>, не надо пытаться заставлять меня жить, как живешь ты или кто-нибудь еще. Я Лолита. Я всегда мало ела и много пила, я всегда курила... Ни ты, ни кто-либо другой не сможет меня переделать... Я люблю то, что люблю, и хочу иметь то, что люблю... Я хочу жить... *cómo se dice?*.. безумно, зная, что живу в грехе, достойна проклятия, но что божественное милосердие бесконечно, и обрету спасение... Ты понимаешь?

— Нет, — сказал он. — Но я готов это принять.

Он хотел как можно скорее вернуться в гостиницу и отвечал рассеянно. Раз десять она прикурила новую сигарету от прежней.

— Закажи мне ликер, Гийом, ликер из лесных ягод.

— Это неразумно, любовь моя. Уже поздно, и...

— Ты торопишься вернуться, *no?* — спросила она, сжав в ладонях лицо Гийома, не обращая внимания на окружающих. — *Querido*, ожидание счастья прекраснее самого счастья... Ты ведь это знаешь, *no?*

Она залпом, на русский манер, выпила свой ликер и встала. Гостиница была недалеко. Они вернулись пешком по узким темным улочкам. Перед дверью она обратила его внимание на двух индейцев, совсем маленьких, словно пигмеи, они спали прямо на ступеньках. Их сомбреро свалились с головы и валялись ря-

---

<sup>1</sup> Сокровище (*исп.*).

дом, образуя яркий контраст с лицами цвета терракоты.

— *Mira...* Сколько нищеты на свете!.. Гийом, ты должен написать для меня пьесу о Флоре Тристан...<sup>1</sup> Жестокую пьесу... Я ее сыграю.

Держа его за руку, она бодро шагала рядом, стуча высокими каблучками по мостовой. Когда они пришли в гостиницу, он робко спросил:

— Ты не слишком устала? Зайдешь ко мне на минутку?

— На минутку? — переспросила она. — На всю ночь. Ступай к себе... *Hasta pronto!*<sup>2</sup>

Он подумал: «Жребий брошен». Чуть позже раздался легкий стук в дверь, который он уже так хорошо знал. Она вошла, укутанная в меховую накидку:

— Я набросила, чтобы выйти в коридор.

Прямо у двери она скинула туфли. Он устремился к ней, чтобы снять накидку.

— Какая ты красивая! — вырвалось у него.

— Тебе нравится?

Он подхватил ее на руки и отнес в комнату, где положил на кровать.

— Почему ты говорил, что стар, любовь моя?

— Потому что я еще не знал тебя.

Она лежала, вытянувшись рядом с ним на постели, и он не мог наглядеться на совершенные изгибы ее тела. Он восхищался красотой ее груди, бедер, длинных ног.

— Ты все, о чем я мечтал, все, на что я даже не смел надеяться: поэзия, воплощенная в женщине, чувственность и ум. Я люблю твои порывы и твою безмятежность.

---

<sup>1</sup> *Флора Тристан* (1803–1844) — французская писательница-феминистка.

<sup>2</sup> До скорого (*исп.*).

Когда, восхищаясь ею, он находил особо красивые фразы, у нее словно из глубины сердца вырывался вздох.

— Скажи мне еще что-нибудь прекрасное, — просила она.

Она была дерзкой любовницей, но не такой искусной, как он предполагал, и это тоже ему нравилось. Около двух часов ночи он прошептал:

— Тебе надо вернуться к себе. Необходимо все же хоть немного поспать, и потом, вдруг тебя утром увидят у меня.

Казалось, она была раздосадована:

— Ну и что? Мне все равно... Ты правда хочешь, чтобы я ушла? Мне так хорошо рядом с тобой.

Он поискал ее туфли, меховую накидку и протянул ей. Она недовольно нахмурилась:

— Это не любовник, за которым я поехала в Боготу... Это Золушка.

С прежней очаровательной улыбкой она сказала: «*Buenas noches, mi señor*», и балетным шагом выскользнула из комнаты.

Когда Гийом Фонтен остался один, его охватило беспокойство: «Я влюблен, — подумал он, — как не влюблялся с юности. Чем это все закончится?.. Через несколько дней я потеряю эту женщину. Какая она была трогательная этим вечером в моих объятиях, едва дышала, и такая доверчивая...» Душа его была в смятении, зато тело казалось легким и умиротворенным, а сердце билось ровно и спокойно.

## Х

Он обещал Лолите разбудить ее в девять. Но самого его колокола Боготы пробудили ото сна гораздо раньше. На церковных часах глухо и размеренно пробило семь. Спал он мало, но чувствовал себя легко

и бодро. «Это от горного воздуха? — подумал он. — Или от радости?..» Пожилая женщина принесла ему *desayuno*<sup>1</sup>. Наконец он позвонил в номер 19. Ему ответил сонный голос. Он представил себе Лолиту: с полузакрытыми глазами, растрепанными волосами, она длинными пальцами сжимала телефонную трубку.

— Здравствуй, любовь моя, — произнесла она. (Это становилось уже ритуалом). — «*Es la voz de mi señor*»...

— Что ты сказала?

— Я сказала: «Это голос моего господина». Ты же мой господин, *no?*.. Как тебе спалось? Ты не устал?

— Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас.

— Ты удивительный, — сказала она.

Она заставила себя подождать, что тоже стало ритуалом, и пришла к нему, одетая для прогулки. Затем они спустились в холл, сначала Гийом, затем, пару минут спустя, Долорес. Он сам настоял на этом. Он встретил ее внизу у лестницы и сказал: «*Buonas días, señora*», сказал нарочито громко, специально для посыльного и кассира, которые, однако, их не слушали. С некоторым, впрочем вполне приемлемым, опозданием появился Петреску, затем Мануэль Лопес с женой, красивой брюнеткой по имени Тереза, и, наконец, незнакомый человек лет сорока, которого Лопес представил: «Педро Мария Кастильо», а Долорес приветствовала его с искренней радостью и сердечностью. Фонтен недоверчиво разглядывал этого человека с умным лицом, залысынами и очень уверенным видом.

— Педро Мария, — оживленно объяснила Долорес, — лучший поэт-драматург Латинской Америки. Я играла одну его пьесу в Лиме, но самого его нико-

---

<sup>1</sup> Завтрак (*исп.*).

гда прежде не встречала. Для меня это огромное удовольствие!.. Правда огромное, Педро Мария! Я так давно об этом мечтала.

К большому удивлению и недовольству Фонтена, Долорес решительно направилась к длинному американскому автомобилю Кастильо. За ней последовал Овидий Петреску. Хотя Тереза Лопес была очень оживленной и веселой, Гийом долго молчал. Он никак не мог пережить разочарование: «Почему она так поступила?» Потом ему пришлось в голову, что она, разумеется, просто хотела избежать пересудов. Он обратился к спутнице:

— Что вы скажете о Кастильо?.. У нас поэты не ездят на «кадиллаках».

— В Колумбии, — объяснила Тереза, — не все поэты достигают уровня Кастильо, но все пишут стихи, в том числе и владельцы «кадиллаков». Мой муж Мануэль пишет сонеты, мой отец писал стихи, я тоже иногда пишу, наш друг Педро Мария одновременно и великий поэт, и банкир.

— Раз он банкир, то понятно, откуда у него такая машина, — сказал Мануэль Лопес, который сидел рядом с шофером и слышал разговор. — Машина и все остальное... В доме у Педро Марии много картин, он интересуется искусством.

— А еще он живо интересуется танцовщицами, — добавила Тереза.

— Прямо какой-то Барнабу<sup>1</sup>, — сказал Фонтен.

— Нет, — отозвался Мануэль, — Кастильо.

Автомобиль выехал из города, и Тереза показала огромную дикую равнину, которая простиралась вокруг, ровная и гладкая, как спокойное море:

— Посмотрите, это саванна!

— Как будто озеро.

---

<sup>1</sup> Герой романа французского писателя В. Ларбо.

— Это и было озеро. Согласно индейской легенде, в те времена, когда луна была влюблена в солнце, однажды она заревновала. От досады решила убить всех мужчин и пустила на землю воды, чтобы они слились в огромное озеро. Это длилось много веков, пока однажды не явился некий дух, он собрал все воды, расколол скалу и через водопад, который мы с вами сейчас увидим, опустошил озеро, так образовалась саванна.

Тереза говорила по-французски даже лучше, чем Лолита.

— Но как вам, живя в вашей стране, удастся так хорошо выучить французский?

— Я воспитывалась в монастыре Сакре-Кер, а Мануэль учился во французском лицее... Мануэль собирается переводить на испанский Валери.

— Не всего Валери, — сказал, повернувшись к ним, Мануэль, — только «Кладбище у моря» и несколько коротких стихотворений.

Дорога начала петлять между крутыми горными склонами, поросшими лесом. Это напоминало бы альпийские пейзажи, если бы не маленькие кактусы, которые придавали подлеску довольно экзотический вид. Внезапно перед ними открылись высокие скалы и каньон с крутыми, отвесными стенами. Вдалеке слышался шум падающей воды, и взору Фонтена предстал деревянный домик посреди леса, прямо на краю пропасти.

— Вот здесь мы и будем обедать, — сказал Мануэль, — но сначала пойдем взглянуть на водопад.

Подъехала вторая машина, следовавшая за ними на расстоянии двухсот метров. Из нее вышла сияющая Долорес и направилась прямо к Фонтену. Издалека она дружески подмигнула ему, и дурное настроение, одолевавшее его всю дорогу, мигом улетучилось.

Она взяла его за руку и увлекла к решетчатым перилам, забрызганным пеной:

— Гийом, идите сюда. Это так красиво.

Потом, когда они оказались довольно далеко от остальных, она воскликнула:

— *Cómo te quiero!*

Водопад казался живым. Со всех сторон били струи воды, они устремлялись вперед, истончались, словно дерзкий наконечник стрелы, затем умирали. Это было похоже на фейерверк, пущенный с небес на землю. Падающая вода была бледно-желтая, слегка золотистая, а пар, что поднимался из ущелья, расплывался мгlistой лиловатой бахромой.

— Об этом водопаде есть легенда, — сказала Долорес. — Говорят, что это воплощение женщины.

— В этой воде есть много от женщины, — согласился Фонтен, — грация и безумие.

— Ты считаешь, что я безумна, любовь моя?

— Самая грациозная и самая безумная, — ответил он.

К ним присоединились остальные гости. Лопес повел Фонтена взглянуть на надпись у подножия водопада:

«Dios omnipotens  
dame me licencia de volver  
a ver esta maravilla de mundo»

— Вы понимаете, месье Фонтен?

Повернувшись к Долорес, Гийом перевел:

— «Господь всемогущий, позволь мне еще раз увидеть это чудо света».

Все воскликнули: «Браво!» Лолита сморщила носик, а Петреску, наблюдавший за ними, возвел глаза к небу. Обед прошел очень весело. Педро Мария Кастильо не знал французского, но Фонтен с помощью обеих женщин пытался говорить по-испански.

— Будьте осторожны! — серьезно сказала Долорес Терезе. — Скоро он будет понимать все.

Петреску дал сигнал к отъезду. Он настаивал, чтобы перед лекцией Фонтен отдохнул хотя бы час. Долорес предложила Петреску ехать в машине министерства, с Мануэлем, а Фонтен сел в «кадиллак» с женщинами. Дорога назад была чудесной. Долорес и Тереза пели, то по очереди, то вместе. Они играли, как две кошечки, сидя по обе стороны от сияющего от радости Фонтена. Но его радость омрачилась, когда по прибытии в гостиницу Долорес спросила:

— О чем ты будешь говорить сегодня, Гийом?

— О том же, о чем в первый вечер в Лиме.

— Это то, что я уже слышала? — уточнила она. — Тогда я составлю компанию Педро Марии, который все равно ничего не понял бы.

Они стояли возле машины. Она заметила, как изменился в лице Фонтен, и потянула его за руку:

— Не обижайся, *querido*... Мне нужно поговорить с Кастильо... В театральном мире он человек очень влиятельный... Мы увидимся в «Гранаде» сразу после твоей лекции. Потом поужинаем у доньи Марины и вернемся к тебе. Ладно?

— Ладно, — ответил он, изображая хорошее настроение.

Он был угнетен. Утром, ожидая Лолиту, он добавил пару абзацев к тексту своей лекции, которые для нее одной имели бы двойной смысл. Что делать? Настаивать, чтобы она пошла с ним? Вокруг было слишком много посторонних. К тому же имеет ведь она право заняться своей карьерой!

После лекции ему с большим трудом удалось отбиться от приглашений на ужин. Он сделал вид, что плохо себя чувствует и выбился из сил. «Это из-за высоты», — объясняли со всех сторон, и каждый счел своим долгом предложить лекарство или доктора. Нако-

нец он освободился, отослал несчастного Петреску, который умирал от беспокойства за своего подопечного, и один вернулся в «Гранаду». Проходя мимо бара отеля, он увидел со спины изящную фигурку Лолиты и массивную Кастильо, они сидели у стойки на высоких табуретах. Удивленный и недовольный, он приблизился к ним и услышал, как Лолита говорит по-испански (Фонтен, увы, все понял):

— Мне кажется, Педро Мария, я знаю тебя всю жизнь.

Голос был возбужденным и счастливым. Услышав за спиной шаги, Долорес обернулась и при виде Фонтена не выказала ни удивления, ни смущения.

— А! Гийом! — воскликнула она по-французски. — Все прошло хорошо? Я и не сомневалась... Хотите мартини?

Он сухо ответил:

— Нет, спасибо. Я отдохну в своей комнате. Когда вы закончите беседу с сеньором Кастильо, будьте любезны меня известить.

## XI

Поднимаясь по лестнице отеля, Фонтен внезапно вновь почувствовал себя старым. Настроение изменилось, как меняются деревенские площади: их ненадолго преобразует праздник, но, едва он закончится и на землю упадут последние ракеты фейерверка, они опять становятся бедными и угрюмыми, с валяющимися на земле каркасами догоревших огненных шутих. Он чувствовал унижение, стыд и ярость. «Та же фраза! — думал он. — И сказанная тем же тоном... Актриса!..»

Он сел в кресло спиной к двери с мыслью: «Все кончено. Как я мог поверить в эту нелепую мечту?»

Какое тщеславие...» Затем он сказал себе: «Ладно, все к лучшему... Я смогу ее забыть и с чистой совестью вернуться к Полине, она моя единственная радость. Человеку отпущено определенное количество нежности, а я расходовал ее впустую».

Впервые с момента своего приезда сюда он заметил, как уродлива эта гостиная. Уродливая мебель — деревянные каркасы с обивкой цвета хаки, уродливые гравюры, лубочные картинки с пошлыми сюжетами. До сих пор он этого не замечал. «Любовь, — думал он, — освещает все своим собственным светом, как Вермеер озаряет поэзией своих служанок... Удаляется художник, и вместе с ним уходит любовь. Служанка вновь становится служанкой, рай — гостиничным номером, а Долорес Гарсиа обычной кокеткой».

Он горестно вздохнул, затем гневно ударил кулаком по ручке кресла: «Как странно чувствовать такую острую ревность, когда юность уже прошла! Сопротивляться невозможно... Это сладостная мука одержимого!»

Он тщетно пытался читать. «Актриса!.. Актриса!» — повторял он. Наконец раздался знакомый стук в дверь, он не ответил. Потом он услышал, как скрипнула дверь, но не обернулся.

— *Tesoro*, — произнес голос Лолиты, — я зашла к себе, и вот я готова... Пойдем ужинать к донье Марине?

— Как хочешь, — устало ответил он. — Я не голоден.

— Что с тобой, Гийом? Ты болен?

— Болен? Нет... Мне все надоело, жизнь, ты, всё...

— Я?.. Ты с ума сошел, Гийом?

Она закрыла дверь, обошла кресло вокруг, села возле ног Фонтена и попыталась взять его за руки, но он их отнял.

— Да что с тобой, Гийом?.. Это потому, что я не пошла на твою лекцию?.. Но, любовь моя, я ведь ее уже слышала в Лиме! Я просто подумала...

— При чем здесь лекция! — трагическим тоном произнес он.

— Но тогда в чем дело?.. Моя совесть чиста, мне не в чем себя упрекнуть.

Он пожал плечами:

— В самом деле?.. А что ты делала с тех пор, как мы расстались?

— Безобразничала, Гийом: ходила в клубный бассейн с Терезой и Кастильо... Только не изображай из себя командора, любовь моя, тут нет ничего особенного. Я обожаю плавать... Но вода была не очень теплая, и мы отправились в бар «Гранады», чтобы выпить martini и согреться немного, а еще подождать тебя. Потом Тереза вернулась домой. Все в высшей степени невинно и безобидно.

— И так же невинно было говорить: «*Мне кажется, Педро Мария, я знаю тебя всю жизнь*»? В точности то же самое ты говорила и мне... И давно вы на «ты» с Барнабу? Сегодня утром ты увидела его первый раз в жизни!

— Как ты его называешь?.. Но, бедный Гийом, я же тебе уже говорила: по-испански мы сразу же переходим на «ты», и никакой это не признак близости. И это *правда*, у меня было ощущение, что я давно его знаю: я ведь читала его стихи, я знаю их наизусть, я играла в его пьесах. Это ведь никакая не связь, *по?*

Поднимаясь, она произнесла грустно и покорно:

— Так это все, Гийом? Я тебе больше не нужна? Мне уйти?

Он тоже встал, заставив себя улыбнуться:

— Нет, я не буду таким суровым. Перед тем как обречь себя на вечные муки ада, ты имеешь право на пару кусочков мяса с кровью и бутылку красного вина.

Она взяла его за руку:

— Я не хочу ни мяса с кровью, ни красного вина. Я хочу твоей любви... Ты мне ее дашь?

И поскольку он не ответил, она повторила:

— Гийом, ты дашь мне свою любовь?.. Если нет, я ухожу.

— Ты сумасшедшая, — сказал он, — ты ведь сама знаешь... Просто я ревную.

— И мне это нравится, — ответила она. — Если бы ты не ревновал, ты не был бы влюблен... *Soy feliz*.

Отправляясь в ресторан, они снова были добрыми друзьями, и каблучки Лолиты весело стучали по кремнистым тротуарам Боготы. Донья Марина радушно приняла их. Когда Долорес выпила свою бутылку вина и выкурила целую пачку сигарет, она стала грустно каяться.

— Гийом, — серьезно произнесла она, — ты сейчас принял мои объяснения, но это все неправда... Я действительно кокетничала с Кастильо.

— Ты всегда кокетничаешь, — сказал он. — В этом нет ничего плохого, это обычная форма вежливости.

Но ей необходимо было исповедаться:

— Не будь таким снисходительным, Гийом... Я не просто кокетка, я скверная, порочная. Я могу насмеяться над людьми, которые меня любят, и пытаться сделать им больно. Да, даже тебе... И это не моя вина, просто со мной в жизни так плохо обращались! Мой первый мужчина был страшный эгоист. Муж, которого я хотела полюбить, меня развратил. И я стала жестокой. Ты был со мной таким нежным и ласковым, а я предала тебя, о! только в мыслях, но все равно это ужасно...

Он вновь начал тревожиться:

— Что же ты сказала этому мужчине? И почему ты кокетка? Это так прекрасно, единственное в своем роде чувство.

В этот момент в ней словно произошел резкий надлом. С едкой иронией она передразнила его:

— «Это так прекрасно, единственное в своем роде чувство». «Ты хочешь, чтобы я была чистой, / Ты хочешь, чтобы я была целомудренной, / Ты хочешь, чтобы я была белоснежной», — так, да? А мне бы очень хотелось увидеть, *buen hombre*<sup>1</sup>, письма, которые ты сейчас пишешь своей жене! Ты, конечно, уверяешь ее в своей любви, пишешь, как тебе не терпится ее увидеть, ты ничего не пишешь про опасную Периколу, кокетливую и лживую, с которой сейчас проводишь дни и ночи, *по?*.. Так по какому праву ты проповедуешь верность и преданность?

Фонтен с восхищением выслушал ее великолепную тираду и в очередной раз подумал: «Какая великая актриса!» Он не мог знать наверняка, что именно она сказала Кастильо, что она обещала, возможно, этому мужчине, но сейчас, в эту самую минуту, она, близкая, плачущая, казалась ему такой прекрасной, что желание было гораздо сильнее, чем гнев. Он подумал, что уже поздно, а они теряют драгоценное время.

— Ты зайдешь на минутку ко мне? — спросил он.

В глазах Лолиты, затуманенных слезами, промелькнуло торжество.

— Закажи мне еще ликера, — попросила она, — и мы пойдем.

## XII

Весь следующий день Долорес провела в театре с директором и режиссером. Гийом Фонтен постарался успокоить *Овидиуса Назо*: он согласился пообедать у весьма любезного французского посла, который выражал признательность за благотворное воздей-

---

<sup>1</sup> Добрый человек (*исп.*).

ствие его выступлений; он поужинал у министра иностранных дел, человека очень образованного, который преисполнился к нему симпатией; он выступал по национальному радио, а в университете прочитал лекцию о Поле Валери, она очень понравилась этим людям, каждый из которых сам был поэтом. Вечером он был весьма доволен собой и думал: «В сущности, этот славный *Овидиус* совершенно прав. Я здесь для того, чтобы делать свою работу, я старый профессор, и только...» Прощаясь перед театром, Мануэль Лопес передал ему просьбу министра, чтобы завтра Фонтен отправился в Медельинский университет.

— Вы не пожалеете, господин Фонтен. Это очень быстро, на самолете. Вы выступите перед молодыми людьми, которые страстно любят французские книги, театр, фильмы. Это будет очень полезно для вас и вашей страны... Единственное неудобство: придется очень рано вставать. Мы заедем за вами в отель в пять утра.

И после небольшой паузы добавил:

— Мы попросили Долорес Гарсиа полететь с нами. Она очень популярна у студентов.

Мануэль Лопес был весьма тактичен.

Было еще совсем темно, когда мужчины и Тереза Лопес спустились в холл «Гранады». Кастильо много путешествовал, как и большинство колумбийских писателей. Не хватало только Долорес. Ночной портье сказал, что видел, как она около часа назад уходила из гостиницы пешком.

— Ничего не понимаю, — тревожился Кастильо. — Мы же договорились, что я отвезу ее в аэропорт.

Лопес посмотрел на часы и решительно заявил, что пора отправляться. Фонтен выглядел весьма обеспокоенным, но Тереза уверила его, что накануне Доло-

рес говорила с ней об этой поездке и непременно будет в аэропорту. Но как? Это была загадка. Лолита любила загадки. В самом деле, когда все три машины прибыли на летное поле, она уже находилась там и гордо встречала их. Кастильо, который с некоторым раздражением спросил у нее, в чем дело, она ответила что-то невразумительное, потом, уведя Фонтена за колонну, прошептала:

— Не говори больше, что я кокетка, любовь моя... Я на многое готова ради тех, кого люблю... Слушай! Вчера вечером Педро Мария сказал мне об этой поездке в Медельин и предложил заехать за мной утром, потому что в министерской машине места для меня не было. Я согласилась, это и в самом деле было удобно. Но потом я подумала, что тебе это было бы неприятно, ведь ты способен ревновать из-за совершенно невинных вещей. И вот я встала в четыре утра и пришла сюда пешком... Мило, *по?*..

Фонтен был смущен и чувствовал себя виноватым. Как он был несправедлив, сомневаясь в этой девушке, такой гордой и независимой! Он едва успел сказать ей об этом, как их окликнули, пора было садиться в самолет. Долорес и Фонтен по молчаливому согласию выбрали места далеко друг от друга. Соседями Фонтена оказались один весьма забавный поэт, который шутил всю дорогу, и грустный, ироничный философ, которого представил ему Лопес. Пассажиры в салоне перебрасывались из ряда в ряд стихотворными строчками, сонетами, рондо. Небо было очень чистым, светло-фиолетовым, а горы на его фоне выделялись резко и четко, как в Греции. Пилот лавировал между горными вершинами с такой дерзостью, будто выполнял фигуры высшего пилотажа, а не управлял пассажирским самолетом. Внизу струилась голубая лента Магдалены.

— Большие корабли, — сказал Лопес, — перевозят пассажиров до порта Баранкилья. Это многодневный, весьма живописный спуск по реке. В каждом городе судно останавливается, чтобы погрузить на борт почту и взять новых пассажиров; капитан приносит новости. Совсем как пароходы на Миссисипи времен Марка Твена.

В Медельине самолет встречали ректор университета и префект. Здесь было теплее, чем в Боготе, и воздух казался необыкновенно легким. Вокруг расстились поля цветов.

— Здесь, — пояснил префект, — выращивают самые красивые орхидеи в мире.

Перед лекцией в университете администрация организовала официальный прием, с шампанским и приветственными речами. В глубине зала Фонтен увидел Долорес, стоящую между Кастильо и Лопесом. Он пошел прямо к ней и негромко сказал:

— Или ты сморщишь носик, или я вообще не стану разговаривать.

Она засмеялась и смешно наморщилась. Чуть позднее она даже поблагодарила его за эти слова:

— Мне нравится, когда ты такой: молодой, дерзкий и несешь вздор... Знаешь, мне польстило, что ты бросил этих важных особ и подошел ко мне.

Между лекцией и обедом оставалось еще время, и Долорес решила поплавать в бассейне гостиницы. У супругов Лопес и Кастильо тоже имелись с собой купальные костюмы. Сидя в полотняном шезлонге, Фонтен смотрел, как они плавают. Успокоенный поступком Лолиты нынешним утром, он уже больше не ревновал и просто наслаждался грацией и изяществом русалок. После очередного заплыва Долорес, еще влажная, выходила из бассейна и растягивалась на траве у его ног. Одеваться она отправилась в пристройку при бассейне. Вернувшись, она улыбалась.

— Знаешь, — сказала она Гийому, — в этом заведении перегородки между женской и мужской раздевалкой такие тонкие. Когда мы с Терезой переодевались, то все время болтали, и в какой-то момент Кастильо крикнул: «Я слышу обнаженные голоса...» *Es bonito, no?*

— А по-моему, пошлая шутка, — возразил он.

До обеда оставалось еще полчаса, и Лолита, «чтобы взбодриться», решила вместе с Гийомом и Лопесом посмотреть на поля орхидей. На обратном пути их настигла гроза, и платье Лолиты превратилось в бесформенную тряпку. Вернувшись в гостиницу, она попросила у инструктора по плаванию полотняные брюки и морскую тельняшку с горизонтальными синими и белыми полосами. В таком виде она и явилась на обед, высоко, выше колена, закатав брюки. Каких-нибудь важных персон это могло бы шокировать, но здесь все присутствующие, и поэты, и чиновники, были очарованы. Ведь дело происходило в Колумбии, где все чиновники — тоже поэты.

Лолита была в ударе, как никогда. За столом она всячески демонстрировала свою близость с Фонтеном, улыбаясь ему и обмениваясь с ним репликами. Сидящий напротив Кастильо сказал Лолите по-испански:

— Я присутствую на великолепно разыгранной комедии.

— Какой комедии? — возмутилась она. — Я никогда еще не была так искренна.

Кастильо скептически усмехнулся, а Фонтен на мгновение усомнился, не было ли ее возмущение напускным. Что могла рассказать она тогда этому человеку? Он был покорен ее актерским мастерством, в котором все могли убедиться после обеда. Лопес велел зажечь огонь в камине. Она стала танцевать в его отсветах, попросила гитару и запела, затем прочла

несколько стихотворений Кастильо, очень красивых, усмирив таким образом единственного критика из их компании. Потом, упав к ногам Фонтена, она стала бормотать колдовские заклятия.

— Да ты и в самом деле колдунья, — сказал ей Кастильо. — Ты превратишь нас в свиней?

— Нет, — ответила она, — я превращу вас в людей.

Сегодня и впрямь казалось, что в нее вселился бес, но бес этот был хитрым и умным. Фонтен не мог скрыть восхищение. «Я никогда больше этого не увижу», — думал он.

Лететь обратно оказалось очень опасно. Разразилась гроза, и огромные градины гулко стучали по корпусу самолета, который мотало из стороны в сторону между горными вершинами. Большие черные тучи наплывали на серые, словно закопченные, горы. Время от времени среди туч проглядывал яркий лоскут ультрамарина. Самолет вибрировал, падал камнем, затем резко останавливался, как будто натыкаясь на слои более твердого воздуха. Долорес подошла к Фонтену и села рядом.

— Тебе не страшно? — спросил он.

— Мне никогда не бывает страшно, — ответила она. — Все равно нам предстоит умереть, и если свою жизнь мы отдадим Господу прямо сейчас, то будем квиты... А ты, *tesero*, ты думаешь о смерти?

— Никогда, — ответил он. — О смерти думать нельзя.

Она стала возражать, но в этот момент внизу, словно рисунок Гюстава Доре, появился город, преклонивший колени перед Альпами, белый на чернильном фоне. Вспыхнуло солнце. Гроза кончилась.

— Это климат Боготы, — сказал Лопес. — Нрав изменчивый, но прекрасный.

### ХІІІ

На часах торжественно пробило девять. Загудел колокол монастыря. Гийом Фонтен сказал в телефонную трубку: «*Diesinieve*»<sup>1</sup>, и с волнением услышал сонный голос:

— Здравствуй, любовь моя... У меня к тебе есть прекрасное предложение. Вчера ты сказал министру, что хотел бы пообедать в каком-нибудь индейском ресторанчике. Есть один, очень известный, неподалеку от Боготы, в Торке, в самом сердце саванны... Слушай, Гийом: Мануэль даст нам машину, сам он поехать не может, у него дела в министерстве, а Тереза поедет... Что ты на это скажешь?

— Скажу, что двое — это компания, а трое — уже толпа.

— Какой ты капризный! С тобой поедут две молодые женщины, две для тебя одного, я ты ворчишь.

— Я не ворчу, — ответил он, — Тереза очень мила, но все-таки...

Когда он оказался между двумя очаровательными девушками в машине, которая катилась по ровной прямой дороге саванны, жаловаться ему не пришлось. По обеим сторонам широкой равнины из высокой травы выглядывали камыши. Бледная зелень эвкалиптов гармонировала с нежной зеленью ив. То там, то здесь в редких оазисах экваториальных зарослей пальм, алоэ, лиан прятались небольшие фермы. Лолита и Тереза не стали изменять своей милой привычке и всю дорогу пели и оживленно болтали. Они договорились беседовать по-французски, но то и дело поневоле сбивались на испанский. Тереза объясняла, что Кастильо собирается писать «Дон Жуана».

---

<sup>1</sup> Девятнадцать (*исп.*).

— Но он будет отличаться от «Севильского оболстителя»<sup>1</sup> и не похож на Соррилью, понимаешь, Лолита?

— О юная эрудитка, — взмолился Фонтен, — соблаговолите просветить чужеземного странника, что такое Соррилья?

— Соррилья? — переспросила Долорес. — Ты что, не знаешь?.. Это автор романтического «Дона Хуана Тенорио», где в конце герой спасается благодаря любви Иньес; которая уводит его с собой в рай... Испанцы относятся к этой пьесе с эдакой ироничной нежностью и играют ее каждый год на День поминовения усопших, потому что часть действия происходит на кладбище. В Аргентине я играла в этой пьесе донну Анну. Стихи такие торжественные и звучные.

— *Mira*, Лолита, — заговорила Тереза, — Педро Мария считает все эти пьесы совершенно нелепыми, потому что в них с самого начала Дон Хуан — вульгарный бабник и волокита. Кастильо считает, что, будь он и в самом деле таким, он бы не решился навлечь на себя вечные муки ада и у него не хватило бы силы духа обратиться в другую веру. Истинная трагедия Дона Хуана в том, что он домогался тысячи и одной женщины как раз потому, что не мог найти одной-единственной, достойной внушить великую страсть. Понимаешь?

— И что об этом думает *señor francés*?<sup>2</sup> — спросила Лолита.

— Я думаю, что это слишком удобно: оправдывать потребность... э-э... гоняться за юбками... поисками

---

<sup>1</sup> «Севильский оболститель, или Каменный гость» — драма Тирсо де Молины.

<sup>2</sup> Господин француз (*исп.*).

идеала, — ответил Фонтен. — Не могу поверить, будто на пути вашего волокиты донна Иньес стала первой женщиной, достойной любви... Нет, правда, если тысяча предыдущих оказались бы обычными кокетками, в чем была бы трагедия?.. Не слишком верится, что профессиональный любовник смог достичь зрелого возраста, не познав... э-э... величия женской любви.

Он отстранился от обеих своих спутниц, чтобы поднять к небесам воображаемую трость.

— Гийом верит женщинам, — объяснила Лолита Терезе. — Очень мило, *по?* Тереза, ты знаешь стихи моей любимой Альфонсины о Доне Хуане?

Тереза их знала, они по очереди прочли несколько строк и перевели их Фонтену:

Noctambulo mochuelo  
Por fortuna tu estas  
Bien dormido en el suelo  
Y no despertaras...

«Ночной филин, / К счастью, ты / Крепко заснул  
в земле / И не проснешься...»

— Почему *к счастью?* — спросил он.

— Потому что, если бы он проснулся, Гийом, ему было бы слишком грустно видеть нашу эпоху... Рыцари без славы, плаща и безрассудства... Я испанка! *O extremada o nada!* Все или ничего!.. А вот и наш ресторанчик.

На краю дороги стояла большая трогательно-простая хижина из плетеного тростника. Рядом под навесом размещалась большая земляная печь, в которой несколько служанок-индианок пекли хлебцы *юкка*, приятно солоноватые на вкус. Столики были выставлены на воздух; Фонтен удивился: здесь оказалось теплее, чем в Боготе.

— У нас климат «вертикальный», — объяснила Тереза. — Нет никаких времен года. Когда в Боготе зима, здесь, в Торке, весна, а в Баранкилье знойное лето... Завтра двадцать первое сентября, и официально это первый день весны, но в действительности к временам года это не имеет никакого отношения.

— Надо же! — воскликнула Лолита. — Двадцать первое сентября? Выходит, завтра мой день рождения.

— Вполне естественно, что ваше рождение стало предвестником весны, — сказал Фонтен. — Это достойно легенды.

— *No despiertas*, Дон Хуан, — перебила Тереза.

Она заказала соленую свинину с гарниром из гигантских бананов.

— Попробуйте, это очень вкусно.

Молодые женщины уже обкусывали поджаренную корочку.

— *Mira*, Гийом, все молодые люди за соседними столиками поглядывают на тебя с завистью. Они думают: «Две женщины для одного этого иностранца — это слишком».

В течение всего обеда не смолкали стихи, песни и смех.

#### XIV

Глухой звук башенных часов показался Гийому мрачным и скорбным. Он возвещал зарю последнего дня. Это был конец мечты. На следующее утро он должен был лететь в Соединенные Штаты, где предстояло выступить две недели, затем возвращался во Францию. Он чувствовал, что его раздирают надвое. Радовался, что вновь увидит Полину, друзей, вернется к своей работе и книгам; и горестно вздыхал, вспо-

миная дивные мгновения, которые довелось пережить здесь.

— Больше никогда! — повторял он.

Без всякой радости он выполнил необходимые утренние ритуалы, позвонил Долорес, затем просмотрел почту, только что принесенную посыльным. Там было письмо от Полины, весьма остроумное и, как ему показалось, ироничное. В девять часов в дверь постучала Лолита и вошла в его номер со словами:

— Можно мне на минутку?.. Я не хочу превращать последний день в похоронную мессу, *querido*, но мне так грустно и тревожно.

— Сегодня мне хотелось бы сходить вместе с тобой за покупками, — сказал он. — Ты говорила, что сегодня твой день рождения. Я хотел бы купить тебе какую-нибудь вещицу, которая будет напоминать тебе обо мне. Может быть, тебе чего-нибудь хочется?

Лицо Долорес просияло. Она запрокинула голову и взъерошила пальцами локоны:

— Как это мило с твоей стороны, Гийом!.. Да, мне уже давно хочется золотой крестик, чтобы носить на шее, мне было бы приятно получить его от тебя в подарок. Я видела вчера такой, большой, очень красивый, в витрине ювелирного магазина «Calle Real». Давай сходим туда вместе?

Они, по обыкновению, разыграли спектакль для посторонних, появившись в холле гостиницы порознь, с интервалом в пять минут. Спускаясь по лестнице, Фонтен размышлял: «Заблудшая душа! Она искренне верит, для нее это естественно, как дышать, и так же естественно получить в подарок от случайного любовника религиозный предмет... Перикола! Только еще больше актерского обаяния...»

Когда он увидел ее внизу у лестницы, глаза его наполнились слезами. «Больше никогда», — вновь

подумал он. Затем произнес вслух специально для кассира, который, впрочем, не слушал:

— *Buenos días, señora.*

Прогулка по многолюдным, шумным улицам с криками индейцев: «*Qué tall.. Hombre!*», затем поход к ювелиру на какое-то время развеяли их печаль. Лолита выбрала простой, без украшений, массивный крест. Она тотчас же надела его на шею и благодарно взглянула на Гийома. Когда они оказались на улице, она крепко уцепилась за его руку:

— Я так хочу быть с тобой, Гийом, гулять, ходить по магазинам, вместе обедать, никогда не расставаться... Ты правда не можешь остаться еще недели на две? Ну хотя бы на одну? Ректор Медельинского университета приглашал тебя читать лекции студентам. Соглашайся. А я постараюсь сделать так, чтобы мы там были вместе. Мы проведем две восхитительные недели, *no*? Не надо упускать возможность быть счастливым, *querido*; жизнь предоставляет нам не так уж много этих возможностей.

Он был искренне тронут, но грустно ответил:

— «Задержите приход старости?..» Увы, Лолита, это невозможно. Петреску уже договорился о датах моих выступлений в Нью-Йорке и Филадельфии, и потом, во Франции меня ждет жена... Знаю, ты не любишь, когда я говорю о ней, но тем не менее...

— Не надо верить тому, что я говорю. Мне даже нравится, что ты любишь и ценишь свою жену... Иногда я сердилась, но я еще больше уважаю тебя, ты не стал мне жаловаться, что несчастлив в семейной жизни, в отличие от большинства женатых мужчин, которые ухаживали за мной... Я должна тебе сказать кое-что, о чем ты, возможно, не догадываешься: ты любишь и почитаешь свою жену больше, чем меня.

— *По-другому*, — поправил он. — И возможно, ты права: *больше*.

— Спасибо, что ты честен со мной.

Днем он должен был присутствовать на официальном обеде, поэтому им пришлось расстаться, но вечером она тоже оказалась приглашена на прощальный ужин, который давал Мануэль Лопес вместе, как он выразился, «со всеми поэтами министерства». Ужинали у доньи Марины, атмосфера была сердечной и немного грустной. За эти несколько дней между Фонтеном и этими людьми возникла искренняя привязанность. Даже несколько неуместное присутствие Долорес их не столько шокировало, сколько очаровало. Чувствительные к красоте и таланту, они полюбили *contraïtera*. В этот вечер донья Марина превзошла самое себя и после каждого блюда, подсев к их столу, принимала участие в разговоре, восхищая гостей своим грубоватым остроумием. Разумеется, читали много стихов, Долорес пела фламенко, и лишь ближе к полуночи «поэты» отвезли Фонтена и его подругу в гостиницу. В холле она громко, чтобы слышала консьержка, сказала:

— *Vuenas noches, maestro...* — Затем тихонько добавила: — Мне пойти с тобой или ты хочешь выспаться?

Он пожал плечами:

— Выспаться? Ты думаешь, я буду спать?

— Разве ты не Золушка?

Улыбаясь, она ушла, но минут через пять уже стучала в его дверь.

— Я хочу провести эти последние часы в твоих объятиях, — сказала она, — как в тот день, когда у меня случился приступ удушья. Помнишь, какой ты был милый?.. Но сегодня задыхается моя душа, а это гораздо больше.

Он выключил свет во всем номере, оставив только ночную лампу, сел на диван, а Долорес легла, положив голову на грудь Гийома.

— Ах, Лолита, — вздохнул он. — Все кончено... Твои прекрасные глаза больше не утонут в моих, никогда не будет тех прекрасных вещей, от которых билось мое сердце...

— Да благословит тебя Господь за все, что ты мне дал! — воскликнула она.

— Я? Но я не дал тебе ничего. Это ты мне подарила столько всего. С тобой было так хорошо говорить и молчать. Я любил твой смех и твои слезы, твои безумства и твое благоразумие. Идти рядом с тобой, заходить в книжный магазин, обедать в индийском ресторанчике — все было восхитительно... Как мне будет не хватать тебя! Мое тело и моя душа будут искать тебя. *Ах, Лолита!*

Он увидел, что ее глаза наполнились слезами.

— Ты быстро забудешь меня, — сказала она. — Мир, в который ты возвращаешься, это твой мир, мне там места нет... *Entras en tu mundo, querido, un mundo que yo desconosco...* У меня плохие предчувствия, Гийом.

— Лолита, разве можно забыть нежность весны, жар солнца и озноб наслаждения?

Так они просидели несколько часов, разговаривая и мечтая. Лолита плакала, затем он попросил спеть его любимую песню. Еще они говорили о будущем. Удастся ли им еще встретиться? Она хотела приехать в Париж, устроить там сезон испанского театра. Фонтен покачал головой:

— Несмотря на все твое дарование, публика не придет. Париж, когда-то зародившийся на одном из островов Сены, по-прежнему островной город. И потом, я там не буду свободен. Здесь наша любовь была невинна, мы никому не причиняли зла. А в Париже...

— Ах, Лолита! — повторила она.

Он предложил встретиться в Испании. Может быть, она смогла бы получить ангажемент в Мадриде или в Барселоне? Он мог бы посодействовать. Или

он еще раз приедет в Латинскую Америку. *Овидиус Назо* сможет это устроить.

Часы на церковной башне пробили четыре утра.

— Ты уже собрал чемоданы? — спросила Лолита. — Тебе помочь? Тебе есть что читать в дороге?

— Да, Стендаль, «Пармская обитель»... Я купил ее вчера, потому что именно сейчас, как никогда, чувствую Стендаля...

— Из-за меня?

— Из-за тебя.

— *Soy feliz.*

Когда вещи были собраны, она вернулась в его объятия. И только гулкий звук колокола привел их в чувство.

— Пять часов! — произнесла она. — Мне нужно спускаться... А ты подожди пару минут... *Querido*, помни... Я показала тебе все: и хорошее, и плохое. Две недели, что мы провели с тобой, — это лучшее в моей жизни.

— Ты тоже не забывай, — отозвался он. — Ты просила написать для тебя роль. Вот тебе роль: Безутешная.

— И долго ее нужно будет играть? — спросила она уже на пороге.

Она исчезла вместе со своей улыбкой.

## XV

Когда Фонтен в сопровождении услужливых, жадных до чаевых носильщиков спустился в темный холл гостиницы, Лолита уже беседовала с Терезой. Ему навстречу вышли Лопес и Петреску, негромко поздоровались с ним, с видом сердечным и трагическим, словно на похоронах. «Последнее утро приговоренного к смертной казни», — подумалось ему. Дорога

до аэропорта тоже была невеселой. Все молчали. Даже Лолита, обычно такая оживленная, казалась подавленной.

— Ваша поездка, многоуважаемый мэтр, прошла весьма успешно, — сказал наконец Лопес. — Надеемся еще увидеть вас в Боготе.

— Друг мой, — ответил Фонтен, — если бы это зависело только от моего желания, я бы вернулся непременно.

Когда они прибыли в аэропорт, Петреску занялся билетами, таможенными формальностями, обменом валюты. Сам он должен был остаться в Боготе, чтобы произвести необходимые расчеты и заняться организацией очередных поездок. Прибыло несколько колумбийских писателей, а также секретарь французского посольства, так что Фонтену пришлось вынести бесконечную череду приветственных и благодарственных речей. Лолита стояла в группе провожающих напротив него и время от времени корчила умильную гримасу. Позже ему удалось приблизиться к ней. Склонившись к нему, она прошептала:

— Ах, Гийом!

Сеньора Лопеса по громкоговорителю вызвали к телефону. Вернувшись после разговора, Мануэль сказал:

— Это министр. Он спрашивал, не может ли туман помешать полету, но в авиакомпании меня заверили, что нет. Он сейчас прибудет. Вы можете гордиться, мэтр, обычно министр лично провожает лишь своих иностранных коллег.

Фонтен смотрел на Долорес. «Какого черта я решил улететь? — думал он. — Я мог бы телеграфировать в Нью-Йорк, перенести свои лекции и отправиться с ней в Медельин. Какой же я дурак!..»

Перед аэровокзалом остановилась длинная машина. Мануэль Лопес поспешил к министру. Несколько

пассажиров, узнавших последнего, воспользовались неожиданной удачей и поприветствовали влиятельного политика. Это было весьма некстати, но министр не имеет права быть невежливым, и ему пришлось задержаться. Затем он присоединился к группе людей, окруживших Фонтена, и стал благодарить его за визит.

— А вы, сеньора Гарсиа, насколько мне известно, еще остаетесь здесь, и в скором времени нам представится счастливая возможность аплодировать вам.

Она заговорила с министром о своих планах, и говорила очень хорошо (слишком хорошо, подумал Фонтен, которому нравилось думать, что и она тоже удручена предстоящим расставанием). Время отлета неумолимо приближалось. Оставалось не более пяти минут. Петреску отвел Фонтена в сторону, чтобы обсудить финансовые проблемы. Фонтен нетерпеливо заметил:

— Это все совершенно не важно, друг мой, позвольте мне попрощаться... Я заранее признаю, что ваши расчеты справедливы. Вы потом напишете мне во Францию...

— Мэтр, надо объяснить... Ваш билет в Майами, пятьсот доллар, он за ваш счет, зато...

Дальше Фонтен не слушал. Из репродуктора донеслось: «*Los señores pasajeros para Barranquilla, Panama, Miami...*»<sup>1</sup>

Министр взял руку Фонтена в свои ладони и сердечно сжал ее. Вспышки фотокамер высветили взволнованное лицо. Лопес, Петреску, другие мужчины дружески хлопали его по спине:

— *Adios, amigo...*<sup>2</sup> И помните: вы обещали вернуться.

---

<sup>1</sup> Господа пассажиры, вылетающие рейсом в Барранкилью, Панаму, Майами... (исп.)

<sup>2</sup> До свидания, друг... (исп.)

Что они с Лолитой могли сказать друг другу в такой толпе? Он подошел к молодой женщине и молча положил ей руку на плечо. Она закрыла глаза и улыбнулась, но губы ее дрожали, словно она вот-вот заплачется. На посадку выстроилась очередь.

— Мэтр, мэтр, — повторял Петреску и торопливо совал Фонтену в руки пачку разноцветных бумажек, — вот ваши билет, вот квитанция для багаж, и паспорт... *Adios, maestro, и спасибо. Happy landing!*<sup>1</sup>

— Прощайте, друг мой, спасибо за все, — ответил Фонтен и встал в очередь.

Уже ступив в самолет, он обернулся и увидел Лолиту, которая в последний раз состроила ему трогательную гримасу. В следующее мгновение он был уже в салоне самолета и с трудом пытался застегнуть ремень кресла. На помощь ему пришла стюардесса. Это была веселая темноволосая американка.

— *You must be a big shot,* — сказала она. — *They made a lot of fuss about you?*

Но Фонтен так плохо говорил по-английски, что она утратила к нему интерес. Все быстрее и быстрее крутились винты. Когда самолет набрал высоту, Фонтен бросил взгляд в иллюминатор. Он увидел ущелья и пики гор, озаренные утренним солнцем, и далеко на равнине серебряную ленту Магдалены. И тогда он с горьким сожалением вспомнил полет в Медельин. Каким юным и счастливым ощущал он себя тогда! Он наугад открыл «Пармскую обитель» и сразу же наткнулся на фразу, которая заставила его грезить. Речь шла о графе Моска: «Этот министр, вопреки его легкомысленному виду и галантному обхождению, не

---

<sup>1</sup> Хорошего приземления! (англ.)

<sup>2</sup> Должно быть, вы важная персона. Вокруг вас такой ажиотаж (англ.).

был наделен душой французского склада: он не умел забывать горести...»<sup>1</sup> Довольно сурово по отношению к французам, и справедливо ли? После периода больших потрясений, связанных с Минни, у Гийома было не много любовных «горестей». Его жизнь с Полиной вплоть до последнего времени была в целом спокойной и счастливой. Ванда заставила его немного пострадать, но тут он как раз явил доказательства души вполне «французского склада» и довольно быстро позабыл ее. В этот же раз, напротив, чувствовал, что тронут глубоко и всерьез. «Испытываю ли я угрызения совести? Нет... Неужели сегодня утром я в последний раз видел эту прекрасную, необыкновенную девушку?»

В глубоком кармане спинки впередистоящего кресла имелась карта, меню и лист голубой бумаги, предназначенной для заметок пассажира. Он достал карандаш, положил этот листок на томик «Пармской обители» и почти бессознательно принялся писать на мотив грустной мелодии, которую напевала Лолита:

Придет минута расставанья,  
Но мной не будет позабыта  
Через года и расстоянья  
Моя Лолита!

Так он настроил десяток куплетов.

«Я возвращаюсь в детство, — подумалось ему. — Как смешно и трогательно».

— *Please fasten your belts*<sup>2</sup>, — раздался голос стюардессы.

Самолет приземлился в Барранкилье. Взлетная полоса дышала зноем; одетый во все белое префект,

---

<sup>1</sup> Пер. Н. Немчиновой.

<sup>2</sup> Пожалуйста, пристегните ремни (англ.).

предупрежденный министром, по-испански произнес приветственную речь. Фонтен, внезапно утративший способность понимать этот язык, думал: «Теперь со мной нет моей прекрасной переводчицы». Эти десять минут невразумительной беседы показались ему нескончаемыми. Вновь заняв свое место в самолете, он достал из кармана голубой лист бумаги и перечел то, что написал незадолго до этого. «Стихи влюбленного школяра, — подумал он. — Неужели я отныне подобен какому-нибудь заколдованному волшебницей сказочному персонажу, который внезапно вспоминает, кем был прежде?.. Боже мой, да какая разница, коль скоро это ребячество доставляет мне такую радость?»

Он попытался было опять погрузиться в чтение «Пармской обители», но каждая страница возвращала его к событиям этих дней, ярким и сладостным. Выйдя из задумчивости, он достал еще один листок бумаги и на этот раз написал:

Мгновенья счастья!  
Короткий сон  
Любви и страсти.  
Да был ли он?

Под дальним небом  
Тебя узнал.  
В мечту и негу  
Твой голос звал.

Тот образ женский  
В ночной тиши  
Лишь отраженье  
Моей души.

Тот вечер в Торке.  
Пустынный пляж...  
Неужто только  
Мечта? Мираж?

В ночи ль безликой,  
При свете дня,  
Ты, Эвридика,  
Ведешь меня.

Неужто это  
Всего лишь сон?  
В лучах рассвета  
Пусть длится он.

Любовь наполнит  
Всю жизнь мою.  
Я буду помнить  
Тебя в раю.

Когда ему удалось облечь свою ностальгию в некую форму, он почувствовал умиротворение и закрыл глаза. Поскольку перед этим он провел бессонную ночь, ему все-таки удалось заснуть. Ему снилось, что он в Нью-Йорке, стоит в огромной аудитории, где ему предстоит читать лекцию, и в последний момент вдруг осознает, что совершенно не знает, о чем говорить. Он внезапно проснулся, охваченный тревогой. Хорошенькая стюардесса трясла его за плечо.

— *My! You are a good sleeper!* — говорила она. — *This is Panama*<sup>1</sup>.

В Майами ему пришлось сразиться с безжалостным американским таможенником из-за серебряного стремени.

— Мне это подарили в Перу... Это исключительно сентиментальная ценность.

— *Yeah?* — иронично вопрошал таможенник. — *Sentimental, it is? But it's also solid silver and an antic... Sentimental silver, a?*<sup>2</sup>

В конце концов все уладилось.

---

<sup>1</sup> Вы хорошо выспались. Уже Панама (англ.).

<sup>2</sup> Да? Сентиментальная? Но это довольно тяжелое серебро, к тому же старинное. Сентиментальное серебро? (англ.)

*Долорес Гарсиа Гийому Фонтену  
Отель «Гранада»,  
Богота*

*Я смотрела, как вы уезжаете, и глаза мои заволакивало слезами, когда внезапно самолет поглотил вас. Все было кончено... Прощай, твой прекрасный взгляд, прощай, твои чудесные слова. Я словно зависла в пространстве, как насыщенное дождем облако, меня переполняли тоска и грусть. Я кусала губы, и боль помешала мне разрыдаться. Приходилось что-то говорить, произносить банальные слова. К счастью, мне на помощь пришел Мануэль Лопес. Он взял меня за руку и с деликатностью, которую я не могу забыть до сих пор, отвел меня к машине и говорил о тебе, говорил очень тепло... И теперь я осталась одна в комнате со своей смертельной тревогой, со своим страданием. Возможно, напрасно я выбрала такой тон для письма к тебе? Но я страдаю потому, что люблю тебя, и благодарю Небеса за это страдание. Твоя вытянутая рука, твоя ладонь на моем плече, и этот последний взгляд, преисполненный любви... Да благословит вас Господь, дорогой Гийом, за все, что вы мне дали.*

*Долорес*

*Гийом Фонтен Долорес Гарсиа  
Отель «Пьер»,  
Нью-Йорк*

*Сегодня утром я получил твое первое письмо, Лолита. Столько воспоминаний при одном лишь взгляде на твой почерк! Я вновь вижу твое лицо, тонкую талию и эту складочку нахмуренных бровей, которая*

*даже среди людской толпы кажется некой связующей нитью между нами, тайной и сокровенной.*

*В Лиме, мне незнакомой,  
Повстречались с тобой.  
Ты — моя Перикола.  
Да простит меня Бог!*

*И в Боготе прекрасной  
Стала статуей ты,  
Безрассудной, прекрасной,  
Воплощенье мечты.*

*И когда выходила  
Из бассейна ко мне,  
Ты была как Ундины  
В океанской волне.*

*Но Ундина Медузой  
Обернулась потом...*

*Стоит ли продолжать?.. Или же это недостойно тебя — и меня тоже? Как я сожалею, что не решился поехать в Медельин и провести там с тобой две недели. Ты бы постучала в мою дверь и спросила: «Я могу побыть здесь немного?» В наших комнатах стояли бы огромные снопы орхидей, и я бы пополнял запасы воспоминаний на зиму. Ах, Лолита!*

*Долорес Гарсиа Гийому Фонтену*

*Получила два твоих письма, Гийом, одно из самолета, другое из Нью-Йорка. Писать легко и просто. И все же мне кажется, будто в руках у меня все счастье мира. Со дня твоего отъезда меня не покидала тревога, и вот твои письма вернули мне надежду. Ты рад, что совершил это чудо, по? Это божественное пришествие слов из твоей души прямо в мои глаза, эти чувства, которые не могут быть притворными, вот что ощущаю я в этих листках. Должна при-*

знать тебе: я столько раз читала и перечитывала твои стихи, что выучила их наизусть. Возможно, это ребячество, но так оно и есть... «Ундина...» Я вновь пережила это мгновение, и меня словно переполнила красота, осенившая этот день. Подумать только, все это было! Это редчайшая привилегия, Гийом, пережить подобные часы, и мы были избраны. Hasta pronto, tesoro. Я существую, потому что я люблю, и если бы ты был суров со мной, я могла бы умереть. Я смотрю на собственное тело, преображенное этим чудом, и ласкаю свое лицо, ведь оно принадлежит тебе. Сейчас я отнесу это письмо и уже заранее завидую его участи. Думай обо мне, как я думаю о тебе. Это все, что я могу просить у тебя.

Долорес

*Р. С. Неужели я так хороша?*

*Гийом Фонтен Долорес Гарсиа*

*Я уже вовеки не забуду,  
Что Лолита сделала со мной,  
Ты мне подарила это чудо:  
Осень жизни, ставшую весной.*

*Но сентябрьских роз горька планида:  
Суждено им скоро облететь.  
Как боюсь я декабря, Лолита,  
Как хочу я больше не стареть.*

*Нью-Йорк, 19 декабря, воскресенье, полное одиночества, страстных мечтаний, сожалений и тоски.*

*Долорес Гарсиа Гийому Фонтену*

*Я в одиночестве проделала этот долгий путь по пустынной дороге из Боготы в Лиму. Я искала на себе твой взгляд. У меня было ощущение, что я играю некоего персонажа: страдающего, несчастного, изму-*

ченного, персонажа, который не должен был бы найти свое воплощение на сцене, и я пыталась сыграть его хорошо, без излишней аффектации. Не сомневаюсь, что ты понимаешь меня. Сейчас я уже вернулась в Лиму. Позвонил грустный молодой человек, потом Эрнандо Таварес пожелал узнать, как прошло твое путешествие, затем звонила милая Марита Мигес. Сколько вещей и сколько людей будет мне отныне напоминать о тебе! Пиши мне, Гийом, пиши свои письма, *tiernas y enamoradas*<sup>1</sup>, и помни, что здесь, в этом странном и таинственном городе, живет женщина, чья жизнь переменилась благодаря чуду любви.

Долорес  
Лима, пятница, 5 часов.

Гийом Фонтен Долорес Гарсиа

Лолита, завтра я возвращаюсь во Францию. Вчера в Филадельфии состоялась моя последняя лекция. Я говорил о Корнеле. В действительности же я говорил о нас. Ах, если бы ты была со мной! Правда, ты не присутствовала бы на этой лекции. Ты отыскала бы здесь, в Филадельфии, какого-нибудь драматурга, чье влияние было бы столь же сильным, что и мотор его «кадиллака»... Это я злюсь, потому что сердце мое полно тобой. Я так полюбил твои письма, «*tiernas y enamoradas*». Твой французский прекрасный, потому что очень простой. Я «ласкаю свое лицо, ведь оно принадлежит тебе», как хорошо сказано...

Сегодня, как и в тот наш последний, печальный вечер в Боготе, мне нужно собирать чемоданы. Увы! В спальне я больше не вижу твоей белокурой головки. Из своего окна на двадцать первом этаже я смотрю, как сменяются на перекрестке зеленые и красные

---

<sup>1</sup> Нежные и влюбленные (исп.).

*огни светофора, изумрудные и рубиновые.носишь ли ты мой золотой крестик, querida? В этот момент, когда настала пора вновь возвращаться в мир, столь отличный от заколдованного кокона, в котором мы с тобой прожили две недели, мне случается произнести подобно тебе: «Подумать только, все это было!» Но эта яркая точка становится моей вселенной.*

## ***Часть третья***

Загляни в сердце ближнего твоего — собственное сердце, — но не обращай внимания на всю ту грязь, которой много в любом человеческом сердце. Иди дальше и не останавливайся, пока не отыщешь невинность и нужду...

*Поль Валери*

## I

Из газет Эрве Марсена узнал, что Гийом Фонтен прибывает 27 октября на лайнере «Иль-де-Франс». По телефону он поинтересовался у мадам Фонтен, не желает ли та, чтобы он поехал с ней в Гавр.

— В Гавр? — переспросила она. — Зачем? Там, на корабле, будет ужасное столпотворение, мне вряд ли удастся поговорить с мужем. А потом еще возвращаться в Париж, в купе с чужими людьми... Нет, я буду встречать его на вокзале Сен-Лазар. Этого достаточно... Вам тоже Гийом будет очень рад.

Ее голос казался усталым и равнодушным. Разве так должна была говорить женщина, которой предстояло увидеть мужа после столь долгого отсутствия? Марсена пришел к поезду на вокзал Сен-Лазар и увидел там сидящую на скамейке мадам Полину Фонтен, усталую и раздраженную. Встав перед ней, Эрве заговорил о том, какую радость она, должно быть, испытывает сейчас; она отвечала осторожно и сдержанно и ловко перевела разговор на посторонние вещи: заговорила о последнем романе Бертрана Шмитта, о генеральной репетиции у Леона Лорана, о новой машине, которую получила наконец у Ларивьера, как раз к возвращению Гийома. Ее неестественный тон обескуражил Марсена, и когда он увидел, что толпа ринулась бежать по платформе, то почувствовал облегчение. На вокзал торжественно прибывал трансатлантический состав. Эрве с трудом прокладывал путь для

госпожи Фонтен. Из вагонов хлынули пассажиры, приходилось пробираться против течения. Наконец издалека он увидел человека, который растерянно оглядывался по сторонам и пытался привлечь внимание носильщика, потрясая тростью. Эрве подбежал к Фонтену и нашел, что тот прекрасно выглядит, помолодел и загорел.

Марсена подвел его к Полине. Супруги обнялись и принялись разглядывать друг друга со скрытым изумлением, которое испытываешь, когда после долгой разлуки вновь видишь близких людей.

— Вы опять похудели, Полина, — сердечно сказал Фонтен. — Пора мне всерьез позаботиться о вас.

— Да, — ответила она, — самое время!

— Ах, друг мой, — обратился Фонтен к Эрве, — какая поездка! *Овидиус Назо* организовал все прекрасно, просто великолепно... А что за континент! Это будущее рода человеческого. Римские традиции, но приправленные пикантным Востоком, обновленные американскими влияниями... А какая тяга к французской культуре! Представьте себе, там молодые женщины знают наизусть Лафорга, Макса Жакоба, Аполлинера!

— Выскажете свой энтузиазм чуть позже, Гийом, — остудила его пыл мадам Фонтен. — Сейчас нужно пройти таможеню.

Ее холодный тон, словно ледяным дождем, окатил присутствующих.

## II

В период, последовавший за возвращением Фонтена, супруги не проявляли друг к другу ни вражды, ни неприязни, но в их отношениях ощущались неловкость и напряженность. Полина вела себя нарочито

сдержанно и со свойственной ей проницательностью внимательно изучала слова и поведение мужа. В поводах для подозрительности недостатка не было. Гийом Фонтен возвратился из этого путешествия совершенно другим человеком. Он рассказывал о своей поездке с восторженностью, которая удивляла, а порой и шокировала его друзей.

— Я готова поверить, что Богота — обитель богов, — говорила Эдме Ларивьер, — но Гийом никогда не отзывался так ни о Флоренции, ни о Толедо!

Еще она отмечала, что он охотно заговаривает о любви, рассуждает о ней уверенно и со знанием дела. И в то же время с недомолвками, что весьма забавляло его более молодых собеседников. Если в театре он присутствовал на представлении «Береники», то, вышагивая по коридорам, повторял: «Прекрасно! Право же, разве это не прекрасно?» — и с чувством декламировал:

Навек! Подумай же, как страшно, как сурово  
Для любящих сердец немислимое слово!  
Да сможем ли терпеть неделю, месяц, год,  
Что между нами ширь необозримых вод,  
Что народится день и снова в вечность канет,  
Но встречи нашей днем он никогда не станет  
И нас соединить не сможет никогда?<sup>1</sup>

Ничего удивительного в том, что он хвалил прекрасное, но почему же он цитировал эту тираду, словно собственное откровение, словно он, Гийом Фонтен, стал этим Титом, оплакивающим Беренику, с которой его разлучила «ширь необозримых вод»?

Полина Фонтен была слишком проницательна, чтобы не понимать подобные нюансы. Еще она замечала, что ее супруг при каждом удобном случае восхваляет плотскую любовь. «Нет истинной красоты без

---

<sup>1</sup> Перевод Н. Рыковой.

истинной чувственности» — это стало одной из его любимых тем для разговора. Он страстно интересовался испанской литературой и решительно отправил на чердак сотню французских книг, чтобы освободить подле себя место для Лопе де Веги, Кальдерона, Федерико Гарсиа Лорки. На расспросы о его следующей книге он отвечал, что это будет нечто вроде драмы про Авигею-сунамитянку, согревающую старость царя Давида<sup>1</sup>. Иногда он говорил о «Фаусте». А самое главное, теперь он, сторая от нетерпения, подстерегал почтальона. Алексис, который никогда его таким не видел, меланхолически удивлялся.

— Зачем месье звонил вам? — спрашивала его Полина.

— Мадам, — отвечал Алексис, воздевая глаза к небу, — месье уже в третий раз спрашивает меня, не приходил ли почтальон!

Эдме Ларивьер пригласила Эрве Марсена к себе, на Бетюнскую набережную, и принялась расспрашивать:

— Тебе известно о проказах твоего учителя там, на другом континенте?

— Нет... Ты о чем?

— Мамаша Сент-Астье показала мне письмо сына. Он был исполняющим обязанности дипломатического представителя в Лиме как раз тогда, когда там находился Гийом. Похоже, его похитила одна хорошенькая актриса, я забыла ее имя, и сопровождала всю поездку.

— Не может быть!

— Именно так.

— Только бы мадам Фонтен ничего не узнала!

— Ну как она может не узнать? — ответила Эдме. — Это знает половина Парижа. Нет никого болт-

---

<sup>1</sup> А. Моруа путает двух библейских персонажей: Авигею (Абигайль) и Ависагу.

ливее дипломатов; им кажется, что знать все — это дело чести. Они совершают одну оплошность за другой: ловко, добросовестно, сознательно — постоянно. А у Полины, увы, есть не только друзья. Своими воскресными приемами она оттолкнула столько женщин, они ей этого не простят!.. Только не делайте такой трагический вид, малыш. Эта интрижка не похожа на то, что у него было с мадемуазель Неджанин. Ванда жила во Франции, была его постоянным искушением. А эта на другом конце света. Впрочем, говорят, она совершенно очаровательна... Я вот думаю, — мечтательно добавила Эдме, — почему она вцепилась в Гийома?

— Он интересный человек, известный.

— Да, но ему все же около шестидесяти, и потом, что может он дать актрисе?.. Театром он не занимается... Нет, я понимаю, там в течение нескольких недель он был гвоздем сезона, знаменитостью... В сущности, мы, женщины, всегда чувствуем потребность приподняться за счет чего-то или кого-то... Нам нужны яркие камни или яркие мужчины. Почему? Да потому, что мы не так давно освободились из рабства и еще не слишком уверены в своем положении в обществе. Это, если угодно, наша слабость. Нас постоянно нужно успокаивать и одобрять, и только мужская защита может усмирить наши страхи.

На это Эрве ответил, что многие мужчины испытывают такую же потребность казаться выше и значительнее, они гоняются за орденскими лентами так же, как женщины за бриллиантовыми колье, и что наивные мужские амбиции зачастую объясняются комплексом неполноценности.

— Это совсем другое, — не согласилась она. — Амбициозный мужчина пытается блистать благодаря своим трудам, через свои труды. А женщина стремится сиять отраженным светом. Вот вам пример: эта

перуанка, покорившая нашего Гийома. Говорят, она прекрасная актриса, даже очень известная. Казалось бы, что ей еще нужно? А ей нужна была эта приезжая знаменитость... Впрочем, все это не важно. Гийом вскоре утешится, и обещаю тебе, что если кто и откроет глаза Полине, то уж, во всяком случае, не я.

Но Эрве почувствовал, что она слегка встревожена из-за этого вторжения посторонней женщины в жизнь друзей.

### III

Откровенные признания — совсем как женщины: те, которых мы слишком сильно желаем, избегают нас, а те, которых мы опасаемся, напротив, нас преследуют. В этой аванюре Эрве Марсена меньше всего хотел бы становиться наперсником Гийома Фонтена; оставшись с ним наедине, он чувствовал, что разрушительное признание вот-вот разразится, словно запаздывающая гроза. В доме на улице де ла Ферм воцарились прежние порядки, возобновились воскресные приемы, но мадам Фонтен оставалась озабоченной и задумчивой, а ее муж все никак не мог приступить к работе.

Однажды, когда юный Марсена обедал в Нёйи, а Полина Фонтен ушла сразу же после обеда, он понял, что ему не удастся избежать участи, которой столь страшился. С каждой фразой Фонтена тайна приоткрывалась, и лишь демонстративное нежелание Эрве понимать, о чем идет речь, пару раз остановило откровенные излияния Фонтена. В конце концов тот перестал сдерживаться и заговорил напрямую:

— Друг мой, мне нужно поговорить с вами об одном деле, которое меня очень беспокоит. Обязательство молчать лишь усиливает мою тревогу, а *вы*, я уверен, меня не предадите. Дело вот в чем...

Он рассказал Эрве то, что тот уже слышал от Эдме Ларивьер: на берегу Тихого океана он встретил лучшую из женщин, это сама поэзия, она сопровождала его в поездке. К несчастью, с тех пор, как он вернулся в Париж, он не получал от нее известий и тщетно пытался объяснить себе ее молчание:

— В Нью-Йорк она писала мне самые прекрасные письма на свете... Прекрасные! Самые красивые, самые трогательные... А здесь ничего. Может, она опасается, что мою почту проверяют? Или неправильно записала адрес? А я пишу все время, почти каждый день, пишу пылкие эпистолы, в которые вставляю стихи, ведь она, кажется, их так любит... Я понимаю, они такие неумелые, пусть даже откровенно плохие, я ведь, увы, не поэт в прямом смысле этого слова. Но они идут из глубины души, как «Песнь о Короле Анри»... Вот, друг мой, прочтите...

Испытывая одновременно и отвращение, и любопытство, Эрве прочел:

#### ЖАЛОБА ТОГО, КТО БОЛЬШЕ НЕ ПОЛУЧАЕТ ПИСЕМ

Когда закончится страданье?  
Я словно ядом опоен.  
Как затянулось ожиданье,  
И не приходит почтальон.  
Когда закончится страданье?

Когда закончится ненастье?  
Лолита, вспомни обо мне!  
Я больше не узнаю счастья.  
Тебя увижу лишь во сне.  
Когда закончится ненастье?

Когда закончится молчанье?  
Но ты со мной не говоришь.  
Мучительное ожиданье  
Накрыло тучею Париж.  
Когда закончится молчанье?

Эрве Марсена молча вернул листок Фонтену. Он испытывал сочувствие, любопытство и смущение. Фонтен сложил письмо и засунул его в конверт авиапочты, который аккуратно запечатал.

— Пойдемте со мной, друг мой. Купим марки и доверим это несчастное стихотворение воздушной почте... «Облачная почта», как говорила она... Да-да! Я не могу просто оставлять эти письма в своей корреспонденции. Полина непременно поинтересуется, что это за сеньора Долорес Гарсиа. Так что раз в два-три дня под любым предлогом я теперь сам отношу эти письма на авеню Нёйи. Это даже приятная прогулка.

По аллеям Булонского леса они дошли до маленького озера Сент-Джеймс и теперь медленно шагали по его берегу. На островке посреди пруда пылали золотистые косматые кроны осенних деревьев. По черной глади вод медленно плыл лебедь, оставляя за собой двойной след. Потом они углубились в сосновый лес, и выстроенные правильными рядами стволы деревьев напомнили Фонтену оливковые рощи в Лиме. Он попытался описать их Эрве:

— Эта бледная листва при свете луны... мне казалось, она омыта каким-то... э-э... необыкновенным светом. Ах, друг мой! За эти несколько недель я испытал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Разве истинное течение времени не измеряется образами, которые оставляет оно в нашей памяти? Для меня каждый день, проведенный с Долорес, стоит целого года.

Эрве заговорил о том, как опасно предаваться подобным воспоминаниям. Зачем поддерживать переписку, если и расстояние, и здравый смысл препятствуют ей? Рано или поздно, но мадам Фонтен неизбежно обнаружит эти страстные письма. И что она тогда сделает? Некоторые ее приятельницы уже про-

слышали об этом приключении и теперь всю о нем судачат. Почему бы не положить конец этой интрижке? Да, прелестной, но ведь у нее нет будущего!

— Странно, дорогой мой учитель, что такой скептик, как вы, готов испортить себе жизнь, и даже жизнь другой женщины, ради столь хрупкого, недолговечного чувства.

— Недолговечного! Не говорите так, друг мой. Мой скептицизм, как вы изволили выразиться, лишь усиливает эту привязанность. Если жизнь, как уверяет ваш друг Констан, есть причудливое видение, без будущего и без прошлого, тогда ради чего и ради кого жертвовать этим шансом на счастье?

— Отвечу вам фразой того же Бенжамена: *«Величайшая драма в жизни — это боль, что мы причиняем другим, и никакая самая хитроумная философия не оправдывает человека, который терзает любящее его сердце».*

Фонтен, тронутый до слез, остановился и поднял к небу трость.

— Как красиво! — сказал он. — И слишком правильно!.. Разумеется, ничто не может оправдать боль, которую мы причиняем... Но если приходится делать выбор между двумя сердцами, которое терзать, то или это? Как по собственной воле расстаться с той, кому обязан самыми прекрасными моментами своей жизни? Нет, друг мой, есть вещи, которыми жертвовать невозможно, если только тебя к этому не принудят насильно.

— Мой дорогой учитель, но вы уже принесли жертву. И случилось это в тот день, когда вы расстались.

— Не надо так говорить... Мы поклялись встретиться вновь. Это возможно. Она может приехать со спектаклями в Испанию, я могу опять прочитать в Латинской Америке цикл лекций... Все возможно, когда

этого очень хочешь. Расстояние не способно убить столь сильное чувство, оно его только укрепляет и... э-э... очищает.

— А как же госпожа Фонтен?

— Но, друг мой, к моей жене это не имеет никакого отношения; я ни в коем случае не хочу, чтобы она страдала; я сказал об этом Долорес, и она поняла. Все это протекает в таких высоких эмпиреях.

Под ногами шуршали опавшие листья, и это шуршание, шелковистое, приглушенное, унылое, напомнило молодому человеку первую прогулку год назад, под теми же желтеющими деревьями, с тем же спутником. В ту пору Гийом был в его глазах таким важным, таким загадочным. Теперь он видел его слабым и неуверенным. И от этого любил еще больше.

#### IV

Желая отметить возвращение Фонтена, Эдме Ларивьер решила устроить ужин. Она пригласила супругов Сент-Астье, которые желали получить последние новости о сыне, Бертрана Шмитта, громогласного журналиста Бертье и, к великому удивлению Эрве Марсена, Ванду Неджанин, как оказалось, по настоящему требованию Полины Фонтен. Бертье встретил Фонтена дружескими упреками:

— Дорогой мой учитель, вы заставляете меня завидовать. Вы только что проделали тридцать тысяч километров, а выглядите моложе, чем при отъезде... Это просто возмутительно! Вы заключили договор с князем тьмы!

— В самом деле, — сказала госпожа Сент-Астье резким голосом, — сын написал нам, что вы поразили всю Америку своим юным видом... Вы ведь видели в Лиме нашего Жоффруа?

— Видел, мадам, он был так любезен, что на опушке священного леса организовал для меня много интересных встреч...

— Так он нам и сказал! — оборвала его госпожа Сент-Астье, и по тону ее было понятно, что она намекает на некие обстоятельства, так что мужу пришлось сжать ей руку, чтобы призвать к порядку.

— И как вам понравились эти страны? — поинтересовался он у Фонтена.

— Гийом думает, что рай находится на побережье Тихого океана, — едко заметила Полина Фонтен. — Не правда ли, Гийом?

— Я этого никогда не говорил; я просто сказал, что эти страны меня очаровали. Они бы и вас очаровали, если бы вы доставили мне удовольствие и согласились сопровождать меня.

Эдме пришлось предпринять энергичные усилия, чтобы развести присутствующих по разным углам комнаты. Эрве оказался рядом с Вандой.

— Подумать только, Эрве, этот ваш Гийом!.. И стоило ли стараться отваживать его от такой безобидной девушки, как я, чтобы отдать в руки обольстительницы в тысячу раз опаснее.

— Как? — изумился Марсена. — Вы тоже слышали эту историю?

— Представьте себе, — сказала она, — я пишу портрет одного молодого чилийского писателя, Пабло Санто-Кеведо... Он по политическим соображениям вынужден был бежать в Европу, он такой пылкий, своеобразный, он такой... В общем, там, у себя, Пабло был любовником некой актрисы, Долорес, фамилию не помню, в которую влюбился Гийом и похитил ее. Представляете? Похитил! Ох уж эти дети.

— И что Пабло говорит про эту женщину?

— О! Пабло плохой судья, он же ее любил... По его словам, она само очарование и гениальная актриса.

Но, как он утверждает, самая опасная женщина на земле. Говорят, она разрушила множество браков, мучила собственного мужа, сводила с ума молодых людей, которых тут же бросала, как бросила Пабло, когда он перестал ей нравиться... Он считает, что если она и вправду захочет Гийома, то заставит его развестись.

— Не говорите глупостей, Ванда. Эта женщина находится на другом краю земли. И зачем ей нужен Гийом, я вас спрашиваю?

— Не знаю, мой маленький Эрве. Пабло уверяет, что, если она решит вернуть Фонтена, он бросит все, а если захочет приехать в Европу, правительства всех стран будут счастливы оказать ей услугу и организовать эту ее поездку... Пабло человек суеверный, он говорит, что в этой Долорес течет цыганская кровь, что она умеет накликать порчу, околдовать и всякое такое... Никогда ни один мужчина не мог ей сопротивляться, так говорит Пабло... Вот в какие руки вы отдали своего учителя, Эрве, когда отвадили его от меня. Прекрасная работа, лучше не бывает.

После ужина Полина Фонтен села на диванчик возле госпожи Сент-Астье:

— Я знаю, ваш сын был очень любезен с Гийомом, — поблагодарите его от нас двоих.

Госпожа Сент-Астье откашлялась:

— Жоффруа был очень рад успехам господина Фонтена, чей талант прекрасным образом служил престижу нашей страны... И все же... Послушайте, дорогая. Полагаю, мы, женщины, должны поддерживать друг друга. Не позволяйте мужу туда возвращаться.

— Он и не собирается. А к чему вы это говорите?

— Дорогая, я ненавижу сплетни, и Жоффруа отругает меня, если я повторю то, что он доверил мне конфиденциально... Но полагаю, мой долг — предостеречь вас. В Лиме вашего мужа постоянно сопровождала одна приятельница моего сына, которая, впро-

чем, лучшая актриса этого континента... Заметьте, я ни на что не намекаю, просто сигнализирую вам об опасности, вот и все.

Полина сделала вид, что ничуть не обеспокоена сказанным:

— Не волнуйтесь за меня. Мы женаты уже двадцать пять лет. Гийом любит женское общество. Я сама отказалась его сопровождать. Ему нужна была переводчица, спутница. Все это вполне естественно.

— Вы не знаете, что это за женщина! Жоффруа говорит, она настоящая колдунья!.. Дорогая, мужчинам в этом возрасте доверять нельзя. Я никогда не позволю Гектору путешествовать одному... На вашем месте я бы поговорила со своим супругом.

Чуть в отдалении Гийом Фонтен в окружении нескольких женщин разглагольствовал об испанском театре. Глядя на него, Полина думала: «Боже мой! Он выглядит таким счастливым... Стоит ли мне опускаться до этих гадостей, которые тут наговорила старая дура». Но она страдала.

## V

Гийом чувствовал, что в его отношениях с женой все меньше и меньше близости и доверительности. В этих переменах он обвинял Полину. Он не думал, что она хоть что-то знает о Долорес, и радовался осмотрительности, с какой ему удавалось скрыть свою страсть.

Он даже не осознавал, с каким простодушным, неприкрытым энтузиазмом говорит об искусстве доколумбийской эпохи, о саванне и об Андах, с какой пылкой радостью бросается навстречу любому латиноамериканцу, оказавшемуся в Париже, не мог оценить, как странно смотрится со стороны *фламенко* во время

концерта в Театре Елисейских Полей. Поэтому он и не мог понять, почему Полина выглядит печальной, молчит и тяжело вздыхает, когда они остаются наедине за обеденным столом. Он пытался успокоить ее, осыпал подарками, которые выбирал любовно и тщательно, но получал в ответ лишь слабую тень улыбки.

Однажды днем в воскресенье, когда выглянуло бледное ноябрьское солнце, он предложил ей прогуляться вокруг озера Сент-Джеймс. Она согласилась. Деревья уже сбросили свою осеннюю листву, и само озеро казалось мелким.

— Какую важную роль это озеро сыграло в нашей жизни! — воскликнул он. — Оно видело нас счастливыми и печальными, юными и старыми, здоровыми и больными. Наверное, и состояние нашего здоровья можно оценивать по тому времени, которое нам требуется, чтобы обойти его.

Полина остановилась под плакучей ивой, чьи ветки трепетали в воде, и обернулась к нему:

— А сейчас? Какими мы себя ощущаем? Расстались навсегда или все еще пытаемся сохранить видимость семейной жизни?

— Я вас не понимаю, — пробормотал он.

— Я тоже, Гийом. Я не понимаю, чего вы хотите. У вас была любовница-перуанка или нет?

Изумленный и взволнованный, он на какое-то мгновение помедлил с ответом, посмотрел на воду, на небо, потом медленно произнес:

— Да, во время этой поездки я встретил женщину, которую полюбил.

— Благодарю вас за то, что, по крайней мере, ответили честно. Я решила, что если вы мне солжете, то расстанусь с вами сегодня же вечером.

Сильнейшее волнение, которое он почувствовал в этот миг, позволило ему осознать, насколько он дорожит Полиной. Ему казалось, что земля уходит у не-

го из-под ног. Помолчав немного, они вновь зашагали рядом по тропинке вдоль озера.

— Но как вы узнали? — спросил он. — Я делал все, чтобы...

— Делали все? А ваши странные слова, наивная гордость? Каждый раз, стоило вам открыть рот, Гийом, вы просто кричали о своей любви! Все ваши друзья это заметили, это было так смешно и нелепо. Даже если бы мне не рассказали, я бы все равно догадалась.

— Но вам все-таки рассказали.

— Какой же вы ребенок! Вы дожили до таких лет и даже не знаете, что все становится известно, что злобные языки никого не щадят, а дурные вести разносятся быстро? Есть люди, которые счастливы лишь тогда, когда заставляют страдать других... Я еще из Боготы получила два анонимных письма, в которых сообщалось, что вы завели любовницу. В одном из них имелись вырезки из газет. Я не знаю испанского языка и поняла не все, но там были три фотографии, сделанные в разных местах, и на них рядом с вами находилась одна и та же юная особа, одетая каждый раз по-разному... Вот это я поняла.

Он остановился и поднял к небу трость:

— Анонимные письма! Какой негодяй мог...

— Как знать? Какой-нибудь брошенный любовник, другая женщина, ревнивый спутник или просто напосто чудовище... Мало ли таких на свете.

— Так вот почему вы были со мной так холодны в день моего приезда!

— Я не знала, как себя вести... Я задавалась вопросом, серьезно это у вас или нет, настоящая страсть или интрижка. Я все еще надеялась. Но ваше возбужденное состояние быстро мне все объяснило. И даже возвращение домой, огромное расстояние не заставило вас ее забыть. От Алексиса я узнала, что вы караулите

почту. Он даже показал мне один конверт с маркой Лимы, с вашим адресом, выведенным прописными буквами... Если она хотела таким образом отвлечь внимание, то результат получился противоположный...

Фонтену захотелось защитить Долорес, которую его жена представляла наивной и глупой:

— Нет, это не потому... э-э... не для того, чтобы скрыть почерк, просто так более четко.

— А как отвечали вы, Гийом? Мне ни разу не попадались *ваши* письма среди корреспонденции на отправку.

— Я сам относил их на почту через день, — сказал он, словно ребенок, уличенный в дурном поступке.

Она снова остановилась, дрожа от негодования:

— *Вы* это делали? *Вы*, который никогда ни о чем не заботится, никогда не ходит за покупками, и вы, раз в два дня... ради женщины, которую едва знаете...

— Ну не то чтобы я ее *едва* знаю, это моя хорошая приятельница.

— Да, конечно, мамаша Сент-Астье рассказала мне тогда, у Ларивьеров, что вы вместе путешествовали... Гийом, как вы могли вести себя так легкомысленно?

Они дошли до конца тропинки. Какой-то ребенок, проехав между ними на самокате, заставил их отодвинуться друг от друга.

— Но не думаете же вы, Полина, что я отправился в Латинскую Америку на поиски приключений. Как раз наоборот. После вашей болезни я решил навсегда отказаться от тех невинных дружеских отношений, которые, похоже, так вас огорчили. Но кто мог сопротивляться этой женщине? Красивая, молодая, талантливая, столько очарования...

— И вы полагаете, что она, такая красивая, такая талантливая, полюбила вас?.. Ну полно, Гийом...

— А зачем же она полетела со мной в Боготу?.. Я согласен, это поразительно, не могу отрицать очевидное.

— Бедняжка, — произнесла она, — как же вы легковерны! Мамаша Сент-Астье, признавая, что ваша возлюбленная очень талантливая актриса, сказала мне также, что она кокетка, и в жизни, и на сцене...

— Полина, эти высказывания пристали мамаше Сент-Астье, но никак не вам, если я и легковерен, то читать-то я умею. Я уверяю, что только... э-э... влюбленная женщина могла писать такие восхитительные письма, которые я получил.

— Так она писала вам *восхитительные* письма! Как бы мне хотелось их увидеть! — с воодушевлением воскликнула она. — Послушайте, Гийом, я соглашусь продолжить нашу совместную жизнь лишь при одном условии: вы расскажете мне *все* об этом вашем приключении. Чего я не могу выносить, так это предательства, того, что вы что-то скрываете от меня, притворяетесь и ломаете комедию. Если вы обо всем мне расскажете откровенно, я не буду чувствовать себя *обманутой* и, возможно, когда-нибудь, со временем, смогу вас простить... Скажите, как ее зовут?

— Но не значит ли это предать *ее*?

— В чем предать? Если я захочу, то узнаю ее имя хоть завтра. Мамаша Сент-Астье спросит его у Жоффруа... Впрочем, мне рассказывали, что как раз сейчас в Париже находится один молодой чилиец, который задолго до вас был любовником этой вашей Дульсины.

Фонтен был поражен, но тут же взял себя в руки:

— Возможно... Долорес никогда и не уверяла, что является девственницей, и не говорила, что верна одному мужчине... Но она мне призналась, что три недели, проведенные со мной, были...

— Самыми счастливыми в ее жизни?.. Неужели вы в вашем возрасте так наивны, что верите фразам, которые стары как мир? Вы сказали, *Долорес*. А дальше?

— Долорес Гарсиа, — признался он с тяжелым вздохом.

По улице де ла Ферм они подошли к своему дому.

— Дайте мне ее адрес, Гийом. Я хочу ей написать.

— Написать ей?! — испуганно воскликнул он, толкая решетку. — И что вы ей скажете?

— Уверю вас, мне многое нужно ей сказать... Что не слишком красиво заводить роман с женатым мужчиной, даже не задумываясь о том, что причиняешь боль другой женщине; но если она искренне привязана к вам, пусть она вас получит, я не стану противиться разводу.

Они вынуждены были замолчать на какое-то время, потому что Алексис открыл им дверь. Как только он принял их верхнюю одежду, Гийом поспешил присоединиться к Полине в ее комнате.

— Развод?! Но об этом нет и речи... Я никогда не обещал ей, не предлагал жениться. Напротив, я всегда расхваливал вас. Говорил ей, что наша женитьба — это самый гармоничный союз на свете, что я не мог бы обойтись без вас.

— И она это принимала? И вы еще утверждаете, что она вас любит?

— Она не принимала. Она мне говорила: «Я не хочу, чтобы ты рассказывал мне о жене».

— Как? Она с вами на «ты»? Я не могу позволить себе это после двадцати лет брака, а она через три недели...

— Это зависит от языка... по-испански все друг с другом на «ты»... Поймите, Полина, я никогда не пытался проводить между вами каких-либо сравнений,

вы не соперницы друг другу. Вы были и остаетесь моей женой, после этой поездки я был так счастлив вернуться к вам. Поверьте, в тот момент, когда мы с Долорес расставались, она была готова поехать со мной и провести вместе две недели в какой-нибудь уединенной гостинице, но я сам не захотел откладывать возвращение во Францию... Мужчина так устроен, черт побери! Он имеет право время от времени позволить себе несколько дней прожить в мечте...

— Мечты у вас какие-то плотские, — с горечью сказала она.

В этот момент Алексис принес чай, вид у него был удрученный, но сдержанный, как у старого друга, который все понимает, но не смеет вмешиваться.

## VI

После этого признания жизнь четы Фонтен стала не то чтобы более счастливой, но более похожей на ту, что вели они прежде. Гийом дал жене адрес Долорес Гарсиа. Едва супруги оставались наедине, Полина засыпала его вопросами:

— Как вы познакомились? Что она вам сказала? Кто из вас сделал первый шаг к тому, чтобы дружба превратилась в любовь? Когда она пришла в вашу спальню?.. Что вы потом делали?

Фонтен, воображение которого работало лучше, чем память, пытался заполнить лакуны в воспоминаниях, но Полина с ее безжалостными уточнениями мгновенно находила нестыковки:

— Гийом, не лгите! Вы говорите, что Сент-Астье пригласил ее на обед вместе с вами, хотя вы никогда ему о ней не рассказывали. Почему тогда он ее пригласил?

— Но откуда мне знать? Я что, сторож этому Сент-Астье?.. Наверное, потому, что у себя на родине она довольно известная актриса.

Поскольку он на целый день закрывался в библиотеке, Полина зачастую начинала свои ужасные расспросы лишь около десяти вечера и с маниакальным упорством продолжала их до двух-трех часов ночи. Она намеревалась буквально по минутам восстановить события тех роковых дней.

— А этот Кастильо, как он себя вел с вами? Ревновал или, напротив, торжествовал?

— Думаете, я помню? Я в отличие от вас не способен с такой точностью воспроизводить совершенно бесполезные подробности прошлого... Иногда даже про Долорес я не могу вспомнить все.

— Так, значит, вы пытаетесь ее вспомнить?

Часто, сидя перед ней, он просто молчал, опустив голову, словно преступник, на которого давит слишком настойчивый следователь. Затем, после пяти-шести оставшихся без ответа вопросов, он начинал умолять:

— Полина, вы меня убиваете! Это просто кошмар!

— Но вы, надеюсь, осознаете, что для меня это еще ужаснее? — отвечала она.

Гийом, измученный бессонницей, тщетно пытался прервать допрос. Если он намекал на позднее время, она говорила:

— Я уверена, что когда вы развлекались с любовницей, то не подсчитывали часы.

— А вот тут вы ошибаетесь! Она даже называла меня Золушкой, потому что я отправлял ее к себе в полночь.

— А что она делала потом? Как возвращалась в свою комнату?.. Кто-нибудь видел, как она выходила от вас?

В конце концов он каждый раз униженно бормотал:

— Но я правда не знаю... Не знаю...

Поскольку по ночам он спал всего несколько часов, то утром просыпался усталым и совершенно не мог работать. Даже письма от Лолиты не утешали его. После трех недель ожидания он вновь стал получать их регулярно. «Какова же была причина столь долгого молчания?» — с тревогой задавал он себе этот вопрос. Долорес рассказывала о поездке в Анды. Она путешествовала одна? Сейчас она репетировала пьесу Кастильо. Порой какая-нибудь ее фраза вновь пробуждала страсть Фонтена: «Твои стихи, прилетев на мои губы, подарили им улыбку, она так и осталась там навсегда».

Он написал ей на следующий же день после рокового объяснения на берегу озера, чтобы прояснить ситуацию и предупредить, что вскоре она получит письмо от Полины, но ответа не было целых две недели, и он не знал, какова будет реакция Долорес. Он опасался, что она возмутится и положит конец связи, у которой нет будущего. Однако он полагал, что поступил «лояльно», потому что в этом письме превозносил Полину и говорил, что ей следует простить некоторую несдержанность выражений, причиной которой являются ее сильные чувства.

Единственной женщиной в Париже, с которой он мог свободно говорить об этом переломном моменте в своей жизни, была Эдме Ларивьер. Она дала ему понять, что осведомлена обо всем и, хотя не одобряет произошедшего, готова выслушать его признания. Он проводил у нее долгие вечера, находя в этих визитах большое удовольствие, потому что всегда приятно поговорить о предмете любви, и тем более приятно поговорить об этом с очаровательной женщиной.

Фонтен полагал, что это романтическое приключение возвысило его в глазах Эдме. Правда и то, что она сама стремилась к подобным беседам. За неимением самой любви женщины хотят почувствовать ее ароматы, услышать отголоски, увидеть отражение.

— Ах, — говорил он, — я знаю, что должен дать Полине отпущение всех грехов, потому что сам нуждаюсь в этом от нее, но есть же пределы человеческих возможностей. Эти ежедневные и еженощные воспроизведения обстоятельств преступления... В конце концов, зачем Полина заставляет меня снова и снова повторять рассказ о событиях, которые причиняют ей столько страданий, тем более что память подводит меня и в этих рассказах все больше противоречий?..

Эдме демонстрировала ангельское терпение:

— Нам, Гийом, нужно во всем как следует разобраться и подвести черту, поэтому мы не устаем анализировать ситуацию или чувства. Для вас же, мужчин, важнее всего действия, да-да, и для писателя тоже. Для него действие — это написать роман... Мы подолгу смакуем счастье и несчастье... Я прекрасно понимаю Полину.

— Увы! — отвечал он. — А я должен признать, что больше ее не понимаю. Чего она хочет? То она дает мне свободу и пишет Долорес длинные послания, в которых, как я полагаю, есть все: и оскорбленное самолюбие, и величие души; то она уверяет, что мое счастье — это ее счастье и она не станет препятствовать новым встречам, она просто хочет, чтобы ее не обманывали и продолжали считать надежным другом. Я приблизительно представляю, что она могла написать Долорес: «Вам нужен мой муж? Он ваш. Вы моложе, красивее, я уступаю. Приезжайте к нему и выходите за него замуж...» Должно быть, несчастная

Лолита была поражена. Она ни о чем подобном не просила... Да, разумеется, я был бы безумно счастлив вновь увидеть ее, например в Севилье, в Гранаде или в каком-нибудь райском уголке в Андах. Но Долорес в Париже? Развод? Новая женитьба? Об этом нет и речи.

— Ну и слава богу, — отвечала Эдме. — Не представляю вас, дорогой Гийом, мужем актрисы, чтобы вы, ревнивец, болтались за кулисами какого-нибудь театра!.. И потом, есть Полина. Не стройте иллюзий по поводу ее отречения от вас, это всего лишь видимость. Полина могла бы из гордости уступить вас другой женщине, но она умрет от этого. Вчера я встретила ее у Менетрие, видно, что горе ее сломило. Не забывайте, Гийом, ее любовь к вам — это удивительное чувство. С тех пор как она познакомилась с вами, для нее перестали существовать другие мужчины. А такое, Бог свидетель, встречается не часто!

— Я просто раздавлен, — говорил он. — Я уверен в одном: больше мы так жить не можем. Что делать?

— Будьте более жестким, — сказала Эдме. — Нельзя давать женщинам слишком много свободы. Ими нужно управлять.

После ухода Фонтена к ней заявила Клер Менетрие, которая, как и она, живо интересовалась этим приключением.

— Полина ведет себя как львица, у которой отняли детенышей, — сказала Клер. — Она рыщет в поисках правды. Чтобы разузнать хоть что-то о своей сопернице, она отправляется на охоту, даже не заботясь о том, как при этом выглядит. Представьте себе, она напросилась на чаепитие к Ванде! Да, дорогая, и все ради того, чтобы встретить у нее того самого чилийца, который когда-то был любовником Долорес Гарсиа.

— Надо же! — воскликнула Эдме. — Так вам известно имя этой дамы?

— Разумеется, — отвечала Клер. — Я ведь тоже захотела познакомиться с чилийцем. Он очень милый и безумно любил ту женщину.

— Похоже, она и в самом деле такая, какой ее описывал Гийом... А почему чилиец от нее отказался?

— Достаточно поговорить с ним пять минут, чтобы понять: он *не* отказывался... Нет, просто он понял, что длительное счастье с ней невозможно, по крайней мере для него, и у него хватило мужества держаться от нее на расстоянии... Он очень славный мальчик.

— А как он объясняет эту связь с Гийомом?

— То, что он говорит, весьма умно и похоже на правду. Он думает, что, будучи прежде всего актрисой, она проживает каждую любовь, словно играет новую роль и пытается сыграть ее безукоризненно. И поскольку она ощущает себя на сцене, ей удается поверить в своего персонажа. Так, с Фонтеном ей захотелось стать юной подругой зрелого писателя, влюбленной поклонницей. Она идеально выстроила роль и была просто восхитительна. Так что впечатления Гийома были абсолютно верными, но юный Санто-Кеведо думает, что после отъезда Гийома она могла встретить другого мужчину и так же превосходно сыграть для него совершенно иную роль.

— Понимаю, — ответила Эдме. — Однако непохоже, чтобы она тут же забыла Гийома, совсем недавно он читал мне ее письма, такие волнующие, очаровательные.

— Почему бы и нет? В эту минуту она играла роль женщины, которая пишет волнующие и очаровательные письма своему далекому возлюбленному.

— Несчастливая Полина! Нам, обыкновенным супругам, так непросто соперничать с актрисами. У них та-

лант, профессия, обаяние... И потом, искусство всегда кажется более подлинным, чем сама жизнь.

— Разве не все женщины актрисы? — спросила Клер.

— Да, но не все из нас обладают талантом... Впрочем, думаю, что окончательная победа все же будет за Полиной... Если только она не испортит игру своей вспыльчивостью. А сейчас Гийом горячо раскаивается, его угрызения совести столь искренни, что он заслуживает снисхождения. Однако его раздражают эти сцены, которые жена устраивает ему каждый вечер, иногда молча, иногда осыпая упреками. Не будем забывать, что если Долорес Гарсиа прежде всего актриса, то Гийом прежде всего писатель. А писатель, который больше не может писать, приходит в ярость.

— Мужчины испытывают страсть, — вставая, подытожила Клер. — Они не умеют любить.

## VII

Гийом Фонтен все меньше и меньше понимал реакцию и поведение жены и любовницы. Теперь Полина почти ежедневно писала Долорес и посылала ей подарки: какое-нибудь украшение, расшитый шарфик. Долорес спрашивала у Гийома: «Наверное, нужно ответить и поблагодарить? После того, что ты рассказывал мне о своей жене, я всегда чувствовала уважение и восхищение. Мне больно думать, что по моей вине кто-то будет страдать», но затем в письме следовали фразы «*tiernas y enamoradas*». Итак, разрыва она не хотела. Он посоветовал ей поблагодарить. И в начале марта Полина не без гордости продемонстрировала мужу конверт, украшенный штемпелем Лимы

и надписанный красивыми крупными буквами, на этот раз письмо было адресовано мадам Гийом Фонтен. В тот день она опять до глубокой ночи говорила Гийому о том, что готова уступить ему «Окситанку». Именно так, в память о последней любви Шатобриана, стала она именовать Долорес, что было совершенно неправильно. От всего уставший, измученный, разбитый, он чувствовал, что еще немного — и он очнется эдаким отрезвленным Санчо Пансо между двумя странствующими рыцарями.

Однажды утром Алексис с таинственным видом сообщил о том, что «какой-то иностранный месье хочет увидеть месье».

— Я позволил себе побеспокоить месье, — оправдывался он, — потому что этот месье уже однажды приходил, это он прошлым летом организовал для месье поездку. И я подумал...

— Вы поступили совершенно правильно, Алексис. Я приму его... *Овидиус!* Здравствуйте, друг мой. Откуда вы? В последний раз мы виделись в Боготе, это место погибели и наслаждений... Чем вы с тех пор занимались?

— О, я остаюсь немного Богота. Потом летал обратно: Лима, Сантьяго, Буэнос-Айрес, Монтевидео, надо было организовать турне... Потом заехать в свой бюро в Нью-Йорк... Потом я был Италия, Греция, Египет... Вы знать Египет, мэтр?.. Это есть страна, где вас обожают. Ах, когда говорить: «Гийом Фонтен», женщины оборачиваться... Это не лесть, это правда. Я вам должен делать турне: Александрия, Каир, а обратно через Афины, Рим... Вы будете иметь триумф...

— Нет, друг мой, нет... Несмотря на всю вашу невероятную энергию и ваше красноречие, поистине... э-э... Цицероновское, вам больше не удастся увлечь ме-

ня на эту стезю. Прежде всего, вряд ли мне удастся найти время. Этой зимой я мало работал, потом, жена не очень хорошо себя чувствует... А если когда-нибудь я и поддамся соблазну, то, скорее всего, захочу вернуться на этот континент, который вы мне открыли и о котором я сохранил... упоительные воспоминания. Да, если бы вы мне предоставили возможность, я охотно бы вновь посетил, нет, не завтра, конечно, когда-нибудь потом, Перу, Колумбию...

Петреску нетерпеливо перебил его:

— Мэтр, вас, конечно, очень полюбить в эти страна, но вы не можете ехать туда каждый год... Публика хотеть новый имена, новый идеи... Может быть, через два или три года... И лучше пусть это Аргентина и Бразилия, а не Перу и Колумбия, где мало публика, которая понимать французский... Я потерять много денег...

На что Фонтен ответил тоном скромным и доверительным:

— Если я упомянул Перу, друг мой, так это потому, что по-прежнему состою в переписке с этой очаровательной особой, вы меня познакомили с ней в Лиме: Долорес Гарсиа. Она пишет мне очаровательные письма.

Петреску против обыкновения отреагировал довольно жестко:

— Как? Это все еще продолжаться? Ах, мэтр, мэтр...

Потом он спросил, может ли выразить свое почтение госпоже Фонтен. Гийом представил себе, какой шквал вопросов обрушит на собеседника его жена.

— Нет, друг мой, — ответил он, — лучше не стоит... Как я уже сказал вам, госпожа Фонтен нездорова и никого не принимает.

Вид у Петреску был сочувствующий и несколько разочарованный.

— Я сожалею, мэтр, я ужасно сожалею, потому что испытывать к мадамэ Фонтен большая симпатия.

«Похоже, он преподавал мне урок», — подумал Фонтен и распрощался с собеседником довольно сухо.

Чуть позже Полину Фонтен позвали к телефону, это был Петреску. Он собирался было объяснить, кто он такой, но она перебила его:

— Я помню вас, месье. Что вам угодно?

Он сказал, что хотел бы с ней поговорить наедине, чтобы «мэтр Фонтен» не знал.

— Извините, что я настаивать, мадамэ Фонтен, но это есть очень важно, не для меня важно, а для мэтр и для вас... Я хотел вас предостеречь от большая опасность.

Полина испытывала слишком острое любопытство ко всему, что касалось «роковой поездки», так она выражалась, поэтому убедить ее оказалось несложно. Она лишь заметила, что в их доме на улице де ла Ферм любой посетитель неизбежно повстречается с ее мужем.

— Значит, надо встречаться в город, — ответил Петреску. — Это просто. Есть один маленький бар улица Тронше, я часто туда ходить. Там вы не встретить никого знакомых, особенно утром... Может, завтра, одиннадцать часов?

Поколебавшись секунду, она согласилась.

На следующий день Полина велела таксисту остановиться у магазина «Прентан», прошла через торговый зал, затем стала искать бар, указанный ей Петреску. Она была взволнована, обеспокоена, заинтригована и чувствовала себя не в своей тарелке. Никогда в жизни она не ходила на такие тайные свидания и заранее опасалась того, что может ей рассказать этот человек, чье имя было связано для нее с самым боль-

шим несчастьем в ее жизни. Но с маниакальной решимостью она, приняв непринужденный вид, вошла в узкий темный зал, где вдоль стен выстроились деревянные столики и скамейки, причем каждый столик был отделен от соседнего перегородкой. За первым сидели двое молодых людей, они разбирали и перемещали марки, записывая какие-то цифры на двух листках бумаги. Едва сделав несколько шагов, Полина заметила Петреску, тот, увидев ее, встал, подошел к ней, поцеловал руку, пригласил сесть за отдельный столик и спросил, что она будет пить.

— Ничего... Я не привыкла... особенно в такое время.

— Надо что-то заказать... Может, сок?.. Да?.. Официант, апельсиновый сок и порто флип.

Затем принял вид серьезный и озабоченный:

— Мадамэ Фонтен, я хотел вас видеть, потому что мой долг вас предупредить... Как я вам сказать по телефону, я испытываю к вам уважение и симпатия, а к мэтр много восхищения... Поэтому я не хотел, чтобы ваш брак был под угрозой... А я приходится этого опасаться... Мадамэ Фонтен, вам надо было меня послушать, когда я предлагать вам ехать вместе с мужем... Вы не знаете, что это такое: одинокий мужчина в стране, где все женщины очень очаровательная.

За столиком напротив вполголоса разговаривали двое мужчин, заgrimированных, казалось, чтобы играть роли гангстеров, и время от времени Полине удавалось разобрать какие-то слова: «Три единства... Избавиться от Кинга...» У нее было ощущение, будто она смотрит плохой фильм. Сделав над собой усилие, она произнесла:

— Если вы хотите поговорить со мной о Долорес Гарсиа, то я все знаю. Мой муж ничего от меня не скрыл, и я сама состою в переписке с этой особой. Однако вы можете рассказать мне кое-какие подроб-

ности, которые меня беспокоят. Когда началась их связь? Кто сделал первый шаг: он или она?

— Она!.. В первый же вечер она мне говорить: «Петреску, этот мужчина будет мой». Мадамэ Фонтен, вы меня не послушались в тот раз, и произойти катастрофа!.. Теперь я предупреждать вас во второй раз и говорить: «Осторожно, мадамэ Фонтен... Долорес не та женщина, которую мужчина забывать, если не видит».

— Она очень красивая?

— Больше чем красивая... Это фея, колдунья...

— А зачем ей опять понадобился мой муж? Фея может взмахнуть волшебной палочкой и получить любого мужчину, какого захочет.

— Зачем?.. Мадамэ Фонтен, женщина никогда не знает зачем... Она ждет, что мэтр пригласить ее Париж, чтобы писать для нее пьесы... И я вам говорить: «Мадамэ Фонтен, не позволять ей приехать сюда, а то вы пропали!» Мэтр любить вас, когда он говорит про вас, у него такие красивые слова... Но он шестьдесят лет...

— А ей двадцать пять, знаю.

— Нет, мадамэ Фонтен, нет! Она тридцать. Я видеть паспорт... но невероятный обаяние. Как только она увидеть мэтра, он будет с ней... верьте мне. Я есть ваш союзник, потому что я вас уважать, и еще потому, что хочу пригласить мэтр в другие страны... Египет, Италия... Но тогда с ним поехать вы, мадамэ Фонтен... Вы *должны*, не то это начаться опять... Еще апельсиновый сок?

Она посидела еще немного, осыпая его конкретными и довольно нескромными вопросами. Но обо всем, что касалось дат, времени, фактов, он говорил столь же неопределенно, как и Гийом. Когда она поняла, что больше ничего узнать не удастся, она ушла.

На площади Мадлен раскинулся цветочный рынок. Она купила букет хризантем. «Траурные цветы, — подумала она. — Вот что мне теперь остается».

## VIII

Любовь-страсть — это всем известная болезнь со своими стадиями, но как сведущий, многоопытный врач сам у себя не распознает классических симптомов онкологии, по которым у любого другого поставил бы точный диагноз, так и Фонтен, не осознавая этого, постепенно вступал в стадию выздоровления. Письма, которыми он обменивался с Долорес, по-прежнему оставались «нежными и любовными», но ритм переписки замедлился. Зато переписка между Долорес и Полиной стала, напротив, интенсивнее. Гийом не знал, о чем пишут друг другу женщины, и опасался, не заключили ли они какой-нибудь союз против него.

Друзья Фонтена, которые, слышав первые раскаты грома после его возвращения из поездки, испытывали разные чувства — одни были встревожены, другие втайне довольны, — теперь с изумлением наблюдали, как гроза удаляется без особого шума. Эдме Ларивьер пригласила Гийома выпить с ней чая наедине.

— Как вы, дорогой Гийом? — поинтересовалась она. — Вы страдаете? Я нахожу, что вы несколько грустны. Из поездки вы вернулись юным и пылким, словно конкистадор. Но похоже, ваш пыл угас? Что стало с вашей любовью?

— Моя любовь изнемогает, — ответил он. — Да и как могло быть иначе? Ведь она питается лишь чахлыми стебельками воспоминаний. За полгода все, что

можно было бы сказать о прошлом, уже сказано. Вы возразите, что существует и настоящее. Да, разумеется, вот только это настоящее у каждого из нас свое, отдельное, особое. И для нее, и для меня главным является наше искусство. Долорес пишет мне о пьесах, которые репетирует, об «Электре», об О'Ниле, о пьесе «Полуденный раздел»<sup>1</sup>, права на постановку которой ей хотелось бы получить, об ауто<sup>2</sup> «Блудный сын», про которое я ничего не знаю. Я рассеянно читаю все это и в ответном письме рассказываю про роман, который собираюсь написать. Похоже, это не слишком ее интересует: когда она мне отвечает, бедное дитя, то ни словом об этом не упоминает. Она не знает людей, с которыми вижуся я, я не знаю тех, кто окружает ее. И что дальше? Какое будущее? Когда-то я с надеждой говорил ей о наших грядущих встречах: «Когда ты приедешь в Гранаду? В Севилью? А когда мы вместе вернемся в Медельин?» Я все еще мечтаю об этих встречах, но сам уже в них не верю. Эдме, я скажу вам одну вещь, которая вас удивит: если бы к нашей переписке не присоединилась Полина и не придавала ей особый смысл, то ручеек бы уже иссяк.

— Как все это печально, Гийом! А ведь, похоже, это была сильная любовь.

— Любовь, какой бы сильной она ни была, требует подпитки.

— Так Полина с ней переписывается? Как забавно! Что могут они сказать друг другу?

— Они мне этого не сообщают, ни та ни другая. Мне кажется, они то набрасываются друг на друга, как гомеровские эринии, то клянутся в вечной дружбе, причем в ущерб мне.

---

<sup>1</sup> Пьеса Поля Клоделя.

<sup>2</sup> См. примеч. на с. 77.

— А почему *в ущерб вам*?

— Потому что существует женская солидарность. Вам ли этого не знать?

— Все гораздо сложнее, — мечтательно произнесла Эдме. — Чаще всего наблюдается женское *соперничество*, если речь идет об обладании одним мужчиной, но стоит женщинам договориться, хотя бы на время, что этот мужчина может принадлежать им обеим, то все, это уже гарем, и женщины пытаются забыть свое зависимое положение, говоря гадости про своего султана... Впрочем, Полина не собирается ни уступать своего мужчину, ни делить его с кем бы то ни было... Но скажите, Гийом, почему вы не защищаете свою любовь, которая, как вы мне не раз говорили, доставила вам столько счастья? Эта вновь обретенная юность, эти «жизненные силы», о которых вы сами мне говорили, это же прекрасно. И вы готовы от всего этого отказаться?

— Мне не нужно было бы от этого отказываться, если бы Полина сделала усилие и поняла, что порой мне необходима веселость, прихоти, нежность, если бы она сама попыталась мне их дать... А ведь она может, и вы это знаете. Полина — это женщина удивительная, ее возможности бесконечны, но она застыла в своем неприятии, словно для нее это дело чести. А я меж этих двух испанок... я... растерян.

Эдме ответила не сразу.

— По-моему, — сказала она, — главное — это понять, чего хотите вы сами. Вам не удастся изменить ни Полину, ни эту вашу Периколу, но удерживать при себе до бесконечности их обеих вы тоже не сможете. Значит, придется *выбирать*. Чем дольше я живу, дорогой мой Гийом, тем больше понимаю, что вся мудрость укладывается в одно это слово. Возьмите, к примеру, меня. Я была довольно хороша собой...

— Вы были очень, очень красивы. Вы и сейчас красивы.

— Во всяком случае, достаточно красива, чтобы нравиться мужчинам... У меня была тысяча возможностей для разного рода приключений. Думаете, мне этого не хотелось? И тем не менее, будучи дважды замужем, я оба раза была верной женой... Я делала выбор.

— Все, что мне нужно, — произнес Фонтен, — это побыть немного одному и собраться с мыслями.

## IX

Курс лечения одиночеством, который Гийом прошел в Лотарингии, пошел ему на пользу. Дом, полученный Полиной в наследство от Берша, стоял на вершине холма. Из окон Фонтен видел реку Мозель с растущими по берегам ивами, ольхой и тополями, и огородик приходского священника, который когда-то разбила Полина. Удивительную тишину тех мест нарушал только щебет птиц, гнездившихся в ветвях бука, чьи ветки раскачивались прямо возле каменного балкона. Фонтен работал на заре, пользуясь безмятежными утренними часами, а после завтрака гулял вдоль реки по узкой луговой тропинке. Вся эта растительная и животная жизнь, что копошилась у его ног, наполняла его сердце покорностью и смирением. Он думал: «То, что ивы или ласточки стареют точно так же, как люди, нисколько не утишает ту боль, что мне причиняет старость».

Временами, напротив, он ощущал бодрость, и в голове его теснилось множество замыслов: «Разве я страдаю из-за старости? Нет, скорее от того, что дурно ею распоряжаюсь... *Молитва о том, чтобы правильно распорядиться старостью*: я славлю Тебя, Господь, и про-

шу каждый день моей жизни осторожно, одна за другой обрывать нити, что привязывают мою плоть к вещам обманчивым и мнимым...»

Он остановился на вершине белой песчаной дюны, у подножия которой журчала река. Его поразили этот чистый воздух, и он долго не мог надышаться. «Старость, — думал он, — это не одряхление, а извращение. Жизнь безо всяких усилий должна вновь обратиться к природе, из которой она вышла. Если человек медленно угасает, становится возможным его единение с миром». Несколько раз он повторил: «Радостное согласие».

Из долины поднимались белые легкие дымки. Никогда еще этот целомудренный, суровый край не казался ему таким прекрасным. «Нет, — думал он, — нельзя поддаваться слабости... И опять: разве я страдаю из-за старости?.. Единственная моя беда, как говорила Эдме, в том, что я отказываюсь выбирать... Но это призрачный отказ, на самом деле я сделал свой выбор. Дважды я видел, как угасает Полина, и дважды оказался не в состоянии это вынести. Ничто не мешало мне пожертвовать ею. А я этого не сделал. И завтра в подобных обстоятельствах я поступил бы точно так же... Я сформулировал для себя мысль, которая годом раньше показалась бы мне банальной: чувственная любовь почти не имеет значения для любви. Ее удовольствия приятны и сладки, но как этого мало, чтобы образовалась длительная связь. Человек здоровый относится к ним с известной долей цинизма. И он прав... Истинная любовь — это потребность чего-то возвышенного... Вот что я искал у Полины и у Долорес... У Долорес я искал это возвышенное, потому что Полина меня разочаровала, после того как долгие годы щедро дарила его».

Он остановился, разглядывая на горизонте какое-то красное танцующее пятно. Что это было? Отблеск

лесного пожара или отражение заходящего солнца на оконном стекле? Он вновь зашагал по берегу: «Нет, неправда, что к Долорес меня толкнуло отчаяние. Я был с нею, потому что она этого хотела и потому что ей невозможно сопротивляться. Чувствуя потребность восхищаться, я наделил ее качествами, в которые сам поверил. Я представлял, как она преданна и поглощена мыслями обо мне... Такого не было и не могло быть... Долорес не виновата. Она никогда не обещала отказаться ради меня от своей свободы... А я не видел, что все это время рядом со мною находилась эта великая душа, которую я искал. Именно Полина, со всеми ее недостатками, наделена гордостью, чистотой, верностью — теми качествами, которые я тщетно искал у другой души, изменчивой и непостоянной.

По лугу в сторону Гийома медленно шли красивые коровы. «Я требовал верности, а сам не считал нужным ее хранить. Верность мужчинам несвойственна, — казалось мне, — это неестественно. Но ничто из того, что прекрасно, не является естественным. Величие человека как раз в том, чтобы выполнять обязательства, идти на жертвы, быть готовым расстаться с жизнью... Вот эти коровы не тяготятся никаким долгом, им неведомы муки совести, но на то они и коровы...»

Когда он вернулся в дом, оказалось, что в его отсутствие приходил почтальон. Пришло письмо от Лолиты; какое-то время он рассматривал крупные буквы, прежде они вызывали такое сердцебиение, затем вскрыл конверт. Долорес описывала праздник в Лиме, на котором она блистала в новой пьесе Педро Марии Кастильо:

«На мне было белое платье без рукавов, ты был бы от него без ума. Выходя на сцену, я, чтобы себя подбодрить, подумала о тебе. Тебе это нравится, *no?*.. Мне

грустно, что ты никогда не видел меня на сцене. Знаешь, что мне хочется больше всего на свете? Играть в Париже, сначала по-испански, чтобы публика меня узнала, потом по-французски. Если бы ты мог это устроить, я бы тотчас приехала...»

Он перечел письмо много раз, пытаясь понять, почему она это говорит. Она в самом деле думала о нем, когда писала? Вечером, оставшись один в комнате, он сочинил ответ.

*Гийом Фонтен Долорес Гарсиа*

*Мне грустно, что меня не было среди свидетелей твоего триумфа, querida, но это, конечно, даже к лучшему. Ты в этот вечер была наверняка окружена поклонниками, которые осыпали тебя цветами и комплиментами. А я бы обожал тебя и ревновал к твоим обожателям. И к тому же ты подружилась с моей женой. Между вами какая-то загадочная переписка. Это создает странную и несколько тревожную атмосферу. Я, хотя и не без сожалений, принимаю то, что уготовано судьбой.*

*Я прожил самые прекрасные дни за последние несколько лет, и этим я обязан тебе. Почувствую ли я когда-нибудь вновь это прекрасное пламя в груди? Вряд ли. В тебе было и есть столько очарования, Лолита, тебя непросто будет заменить. Да я и пытаться не стану. Я сохраню эти воспоминания, которые наполнят ароматом жизнь благополучную, но несколько унылую, как охапка свежих полевых цветов озаряет рабочий кабинет. Вот о чем я думаю этим вечером, когда над тополями поднимается луна, а из своего убежища показывается сова. Что же случится и что станет с этими благоразумными мыслями, если завтра ты вдруг приедешь в Париж? Думаю, твой приезд поставил бы нас в сложную ситуацию, мы*

*пережили бы несколько болезненных и много счастливых моментов. Ne nos inducas in tentationem...<sup>1</sup> Я пробуду здесь три месяца. Мне снятся оливковые рощи, колокола Боготы, наш перелет в Кали. Как мало нужно старому сердцу...*

Это письмо ясно показывает, в каком состоянии духа находился Фонтен. Он походил на человека, который только что проснулся, он ясно различает окружающие его предметы, но в голове его еще роятся обрывки сновидений и медленно рассеиваются, словно предутренный туман.

За это лето, столь безмятежное и в то же время плодотворное, окрепла его решимость спасти свой брак. Часто, глядя в окно на стоячую воду канала и искрящуюся реку, он размышлял о сладости романтики и приходил к мысли, что искать ее следует в любви, прошедшей испытания временем, а не в мимолетных увлечениях.

«Только лишь неведомое способно пробудить стремление узнать? Разумеется... Но частица этого неведомого остается в любом человеке».

Доказательство этому он находил постоянно. К нему приехала Полина, и он все меньше и меньше понимал ее поведение. Она теперь почти не говорила о Долорес, зато обстоятельно беседовала с Гийомом о книге, над которой тот работал. Он жаловался, что она отдалилась от него.

— Что вы хотите? — отвечала она. — Если доверие потеряно, восстановить его очень непросто. Я вам по-прежнему предана... Я не могу забыть, что вы совершили нечто, чего я от вас никак не могла ожидать. Теперь между нами всегда будет стоять это лицо, это тело...

---

<sup>1</sup> Не введи нас во искушение... (лат.)

— А что, если в результате этой ошибки я еще сильнее привязался к вам, если она помогла мне почувствовать, что вас заменить невозможно?

— Но мне, Гийом, чтобы это понять и почувствовать, совершенно не нужно было ваше латиноамериканское приключение.

Ему казалось, что она несправедлива и не может преодолеть горечь измены, а ведь он делает столько усилий, чтобы сблизиться с ней. Но он решил быть терпеливым. Когда подошла годовщина его встречи с Долорес, Полина стала заметно нервничать. Что касается дат, она была фетишисткой. Из письма Лолиты Гийом узнал, что она вновь собирается репетировать «Тессу». «Тебе ведь понравится, если я буду Верной нимфой?» На следующий день он написал ей письмо, которое, как он надеялся, станет прощальным.

*Гийом Фонтен Долорес Гарсиа*

*Да, разумеется, мне хочется, чтобы моя нимфа была верной. Я тоже не могу забыть те волшебные дни. Вот уже скоро год, Лолита, как мы встретились. В годовщину нашего знакомства, если ты будешь в Лиме, зайди в ту маленькую барочную церковь Магдалины и подумай обо мне немного. Тому, кто уехал навсегда, нельзя посвятить жизнь, но ему можно посвятить минуту своей жизни — и молитву. Неужели все это было на самом деле? Здесь, в этом безмятежном краю, бывают моменты, когда я начинаю в этом сомневаться. Затем из глубины души поднимаются воспоминания: твой первый взгляд, который сразу околдовал меня, длинная рука, приподнимающая волосы, лицо, преображенное страстью или покаянием. Эти образы по-прежнему остаются в моем сердце такими чистыми и яркими, что, вспоминая эти дни, я не чувствую ни сожаления, ни раскаяния. Я словно читаю прекрасную книгу, где благодаря необыкновенной*

*прозорливости автора описывается жизнь, которую я сам хотел бы прожить. Как знать? Может быть, и лучше, что, выйдя однажды в таинственный город из мира колдовского и волшебного, ты вернулась обратно, не утратив ни капли своего необыкновенного очарования. Ты останешься для меня той, кто никогда не состарится и не изменится. А что касается меня, пусть лучше я существую для тебя лишь в мире воспоминаний, где приближающаяся ночь не сможет поглотить мои последние дни юности. Прощай, Лолита. Трудись. Твой талант тебя обязывает. Прощай.*

Вечером он сказал Полине:

— Сегодня я написал Долорес последнее письмо.

— Последнее?

— Надеюсь, да. Эта страница моей жизни перевернута. Я хочу, чтобы на следующей, чистой странице писала только ты.

— Так вы не знаете, Гийом, что Долорес в ноябре приезжает в Париж?

Эта новость потрясла его:

— Как?.. Она что-то говорила мне, но ничего определенного, я не думал, что это случится... Вы уверены?

— Абсолютно уверена. Мы с ней это организовали *вместе*. В октябре у нее будут гастроли в Испании, а затем в Париже она даст несколько спектаклей со своей труппой, которая называется «Театральное товарищество Анд». Я сама договаривалась с Театром на Елисейских Полях.

— Вы? Полина, это безумие! Зачем?

— Из любопытства, а еще, возможно, Гийом, чтобы испытать *вас*.

— Долорес может играть только по-испански. Публика не пойдет.

— Пойдет, — возразила Полина. — Надо воззвать к их снобизму. А у нас это получится. И потом, вы наконец увидите свою актрису на сцене.

Гийом помрачнел. После довольно долгого молчания он произнес:

— Если Долорес в самом деле приедет в Париж, я сделаю все, чтобы меня здесь в это время не было.

Опустив глаза, Полина ничего не ответила.

## Х

Все эти дни, что предшествовали приезду в Париж Долорес Гарсиа, Полина Фонтен не могла поверить, что у мужа хватит решимости уехать. Она взяла у Долорес обещание, что если та увидит Гийома, то не станет пытаться завоевать его сердце вновь. Долорес приняла это условие, так что твердая решимость Фонтена уже не имела значения. Как только он узнал от жены, что Лолита в начале ноября прибывает в Сантадер, то тут же запланировал цикл лекций в Швейцарии на тот же месяц. Это был его способ привязать себя к мачте, чтобы сопротивляться пению сирен. Когда Долорес и ее «Театральное товарищество Анд» приехали в Париж, он был уже в Цюрихе.

Из Испании, где они давали спектакли две недели, Долорес забрасывала Полину письмами, то восторженными, то жалобными. Она была счастлива посетить страну, к которой была привязана всем сердцем. Гранада, Севилья, Толедо ее очаровали. Но она вынуждена была признать, что прием, оказанный ее труппе, не оправдал ожиданий. Испанская критика с унижительной снисходительностью писала об этом «театрике с провинциальным акцентом». Немногочисленные знатоки хвалили игру Долорес Гарсиа. Знаменитый писатель Рамон де Мартина с пылким посто-

яньством ездил за трупой из города в город и ходил на все представления. Долорес прислала фотографию, на которой она сидела у ног этого старого поэта, а он с нежностью смотрел на нее. Однако успех был более чем скромный, и упавшая духом актриса все свои надежды возлагала на Францию. «Если Париж примет нас, все остальное не имеет значения», — писала она госпоже Фонтен. Она сообщила, что 5 ноября будет в отеле «Монталамбер», а спектакли начнутся 9-го.

Женщины должны были увидаться в гостинице около шести вечера. Взволнованная предстоящей встречей, Полина тщательно выбрала платье и шляпку, которые, по уверениям Гийома, были ей весьма к лицу. Прибыв в отель, она спросила у консьержа госпожу Долорес Гарсиа.

Тот позвонил по внутреннему телефону:

— Двести восемнадцатый? Вас ждет мадам Фонтен.

Потом повернулся к Полине:

— Госпожа Гарсиа сейчас спустится.

Полина села в стоящее в холле кресло, напротив лифта, и стала высматривать лицо, столь знакомое ей по фотографиям. Вскоре дверцы лифта открылись, и госпожа Фонтен сделала движение навстречу, но из лифта появился тучный мужчина со светлыми волосами, и больше никого. Тут Полина подняла глаза, словно замороженная чьим-то взглядом, и увидела на лестнице молодую женщину, очень красивую, стройную, с мундштуком в уголке губ; она остановилась на ступеньке и смотрела на нее. Это была Долорес. Она спускалась медленно, не отрывая взгляда от Полины.

«Какая продуманная мизансцена!» — не могла не отметить Полина. Когда Долорес подошла ближе, Полина сумела оценить светло-рыжие волосы, глаза цвета моря и прекрасные манеры: сдержанность и сердечность.

— Это вы! — тихо произнесла Долорес, словно пытаясь сдержать волнение.

«Какой верный выбран тон! — вновь подумала Полина. — Никакого пафоса, но тем не менее она дала понять, как для нее важна эта встреча. Рашель в расиновской пьесе...» И она внезапно осознала, какую жертву принес Гийом.

— Я узнала бы вас из тысячи, — произнесла Долорес. — Точно такой я вас себе и представляла: красивая и чистая.

— Вы тоже, — отозвалась Полина, — вы тоже такая, как я себе представляла: красивая и опасная.

Долорес села рядом и улыбнулась искренне и непринужденно:

— Опасная? Но не для вас. Я намерена сдержать свое обещание. Вы мне верите?

— Верю, тем более что для вас это не составит никакого труда, — ответила Полина, пытаясь не выдать своего торжества. — Моего мужа нет в Париже. И не будет все то время, что вы здесь. Но поговорим о нем позже... Сегодня я просто хочу быть в вашем распоряжении, чтобы показать вам город, помочь с покупками, познакомить с нужными людьми... Вы желаете, чтобы я устроила в честь вас обед? Как дела в театре?

Подошел консьерж:

— Госпожу Гарсиа просят к телефону.

Пока та разговаривала, Полина успела подумать: «Гийом не обманул: она неотразима. Возможно, я тоже уже попала под ее обаяние?» Тут появилась Долорес.

— Простите, — сказала она. — Это администратор театра. Он хочет, чтобы я поужинала с ним сегодня вечером. Он очень любезен и много нам помогает.

— Это малыш Нерсиа? — уточнила Полина. — Да, он очень мил... Когда начинаются спектакли?

— В четверг вечером «Кровавая свадьба». В среду мы будем репетировать на сцене. А до этого я свободна. Хотите порто? Коктейль? *Но?* А я, если позволите, закажу себе мартини.

Она окликнула проходящего мимо бармена, сделала заказ, потом произнесла тоном одновременно нежным и робким:

— Вы так добры ко мне и так благородны... Да, я буду счастлива пообедать у вас и походить с вами по Парижу, Полина... Вы ведь позволите называть вас *Полина?*.. «Мадам» смущает меня, я ведь так хорошо вас знаю. И мне будет приятно, если вы станете называть меня *Долорес*. Так вы докажете, что хоть немного простили меня. Я не хотела причинять вам зла, вы ведь это понимаете, *но?*

Ее голос был умоляющим, ласковым. Полина заметила, что холл гостиницы — не самое подходящее место для подобных объяснений. И они вернутся к этому разговору позже. А сейчас нужно просто условиться, когда они встретятся завтра.

— Что вы хотите посетить?.. Нотр-Дам? Сен-Северен? Лувр?

— Да, конечно, я хочу все это увидеть, а еще улицу де ла Пэ и могилу Наполеона... Но больше всего мне хотелось бы пойти в театр...

— Могу я пригласить вас послезавтра в «Комеди Франсез»? Там дают «Подсвечник»<sup>1</sup>.

— Ах! — воскликнула Лолита, словно не в силах справиться с нахлынувшим на нее счастьем. — Все, о чем я так долго мечтала...

Одним глотком она опустошила свой мартини, прикурила другую сигарету и добавила:

— Здесь со мной, в отеле, две мои подруги, тоже актрисы: Кончита и Коринна... Возможно ли пригласить и их тоже? Они были бы так счастливы.

---

<sup>1</sup> Пьеса А. де Мюссе.

— Разумеется, — важно произнесла Полина. — Мне нужно только заказать ложу в администрации театра.

Она находила немалое удовольствие, демонстрируя, каким влиянием пользуется здесь, в Париже. Женщины еще немного поговорили и составили планы назавтра. Долорес снова позвали к телефону, и, вернувшись, она сказала:

— Это наш посол... Просит прийти поужинать сегодня, так, без церемоний.

— Как хорошо вы говорите по-французски!

— Это благодаря сестре Агнес из монастыря. Я многим ей обязана.

Полина поднялась с кресла:

— Могу ли я сделать для вас еще что-нибудь?

— Нет, спасибо... Ах да... Я хотела вас попросить дать мне адрес вашего духовника и вашего парикмахера.

Полина не могла скрыть улыбку. Выходя из отеля, она думала: «Какая она привлекательная и соблазнительная! Гийом проявил стойкость, отказавшись ее видеть».

Она сама удивлялась, как легко выдержала этот разговор.

«Как все просто, если решиться», — подумала она.

## XI

Назавтра, после обеда, Полина подъехала на машине к отелю «Монталамбер» и попросила о себе доложить. Через несколько минут, оживленно болтая по-испански, в холл спустились три красивые девушки, и Долорес представила своих подруг: Кончита оказалась андалузкой с темными, сильно вьющимися волосами, а Коринна — миниатюрной перуанкой с огромными глазами и крошечной ножкой. Обе говорили по-французски, хотя и не так хорошо, как Долорес.

Об этом дне Полина Фонтен сохранила самые приятные воспоминания. Восторг трех молодых женщин, их восхищение Парижем, их птичий щебет, невнятное чириканье — все казалось ей таким трогательным и экзотичным. Погода была прекрасной, памятники четко вырисовывались на фоне чистого неба. Полина чувствовала гордость за свой город и была счастлива, что может радушно принять этих восторженных иностранок. Собор Парижской Богоматери их потряс. Долорес говорила о Квазимодо, об Эсмеральде. Потом, войдя в собор, она опустилась на колени на каменный пол и какое-то время молилась, ударяя себя кулаком в грудь.

— Мне хотелось бы еще помолиться во всех приделах, — серьезно сказала она.

Она преклоняла колени перед каждым алтарем, какое-то время оставалась в этой позе, закрыв лицо руками, затем вставала с видом счастливым и восторженным. Ей непременно захотелось положить свои ключи на раку с реликвиями.

— Так *надо*, — объяснила она Полине. — И вы так сделайте.

— Но зачем?

— Чтобы ваши ключи отпирали только счастье.

Выйдя из собора, она заметила милого ребенка, гуляющего с мамой, и внезапно подхватила его на руки.

— Какой ангелочек! — воскликнула она. — Не могу пройти мимо *niño* и не поцеловать его.

Она передала ребенка Кончите и Коринне, те тоже его поцеловали. Ребенок был в восторге, а его мать в ужасе.

В машине Долорес принялась гортанным голосом напевать мелодию фламенко. К ней присоединились подруги. Долорес взяла Полину под руку, и та почувствовала, как постепенно погружается в атмосферу беспечной юности, ее сдержанность таяла. Когда они

оказались на углу улиц Бонапарте и Сен-Пэр, Долорес решила выйти из машины и пройти пешком, она заходила в книжные магазины, покупала книги о театре, балете, современной живописи.

— Дитя мое, — пыталась остановить ее Полина, — у вас будет неподъемный багаж.

— Ничего, у кораблей большие трюмы, — отвечала Долорес.

В соборе Дома инвалидов она бросилась на колени перед балюстрадой у могилы Наполеона. Было слышно, как она молится.

— Я молилась за упокой его души, — пояснила она, поднимаясь. — Он мой кумир.

Кончита, которая что-то смутно помнила про Жозефа Бонапарта, попыталась возразить ей по-испански. Все трое пустились в пылкую дискуссию об императоре. Под сводами Дома инвалидов разносился их нежный щебет. Около пяти, когда уже начинало темнеть, госпожа Фонтен захотела пригласить их выпить чая в какую-нибудь кондитерскую. Девушки настояли, чтобы Полина приняла их приглашение и вернулась с ними в гостиницу.

— Мы закажем для вас чай, — сказала Долорес, — а сами выпьем по коктейлю.

Они показали Полине свои комнаты. На столе стояла огромная свеча.

— Мы привезли ее из Перу, — пояснила Коринна. — Она освящена в церкви и помогает при бурях и грозах. Как только начинается гроза, вы должны прочесть десяток молитв, перебирая четки, и тогда вам не страшна никакая молния.

Полина с трудом ушла от них. Она и не помнила, когда в последний раз так интересно проводила время.

На следующий день в половине первого Полина послала машину за Долорес. Она решила устроить

обед у себя дома, на улице де ла Ферм. К обеду ожидалось: великий актер Леон Лоран, писатель Женни, супруги Шмитт и Менетрие, юный Эрве Марсена, который делал первые шаги как театральным критиком, а также Клод Нерсиа, главный администратор театра Елисейских Полей. Долорес опаздывала: у нее имелись весьма смутные представления о пунктуальности, к тому же она полагала, что обедать так рано — это варварство. Прочие гости, которых Полина предупредила, что дает обед в честь перуанской актрисы, ожидали ее с немалым любопытством. Хотя слухи в Париже забываются так же быстро, как и расходятся, присутствующие — женщины с подробностями, мужчины довольно смутно — помнили о некой драме семьи Фонтен, причиной которой и была эта актриса.

— Неужели это та самая? — спросила Изабель Шмитт у Клер Менетрие. — Не может такого быть. Гийом уехал из Парижа, а Полина, насколько мы ее знаем, никогда бы не пригласила в дом любовницу мужа.

— Как знать, — отвечала Клер. — Полина — особа проницательная... Как зовут актрису?.. Долорес Гарсиа? Похоже, это именно она и есть.

— А Гийом?

— Он удалился, — сообщила Клер, — и оставил этих амазонок разбираться между собой.

— Но похоже, они вовсе не собираются разбираться!

Долорес ожидал привычный для нее успех. Гости сочли ее очень красивой, удивлялись безупречному французскому, были очарованы ее манерами. Каждому из присутствующих мужчин она сказала нечто приятное: Леону Лорану — что она рукоплескала ему в Буэнос-Айресе. Бертрану Шмитту — что читала его

романы и восхищается ими. Менетрие — что самым ее большим удовольствием было бы сыграть Вивиану.

— Она и внешне идеально подходит для этой роли, — сказал Лоран, не отводя от нее взгляда.

За обедом гости вели непринужденную беседу. Леон Лоран заговорил о профессии актера, он утверждал, что не стоит и пытаться вступить на этот путь, если не чувствуешь призвания, то есть потребности и способности примерить на себя кожу другого человека.

— Что всегда меня поражает, — поддержал разговор Менетрие, — так это стремительность, с какой происходят все эти душевные превращения. Вот я разговариваю в кулисах с какой-нибудь актрисой, она вся поглощена бытовыми проблемами: плата за жилье, театральные дрязги, новая шуба; но вот она выходит на сцену и начинает рыдать. На съемочной площадке это выглядит еще поразительнее: актер в десятый раз повторяет ту же сцену и десять раз подряд находит верную интонацию.

— Ничего удивительного, — ответил Леон Лоран, — ведь певица в нужный момент тоже извлекает нужную ноту. Верно найденная, усвоенная интонация становится нотой в гамме чувств. Она никогда не изменится.

— Вы полагаете, — спросила Полина, — что великий актер может примерить на себя любого персонажа?

— В разумных пределах — да... По правде сказать, есть два вида актеров: те, кто может сыграть кого угодно, это великие актеры, и те, кто может играть лишь свою собственную роль. Они по-своему хороши, если их личность привлекательна, то их персонаж тоже привлекателен, но их нельзя назвать актерами в полном смысле этого слова... Вот вы, как мне рассказы-

вали, в равной степени хороши и в «Карете святых даров»<sup>1</sup>, и в «Даме с камелиями». Если это так, то вы настоящая актриса.

— Но разве женщина, — почтительно улыбаясь, спросила Долорес, — не может соединить в собственной жизни Периколу и Маргариту Готье?.. И кокетка бывает способна на истинную страсть. Может быть, с другим мужчиной, вот и все. *Но?*..

— Она умна, — шепнул Бертран Шмитт Полине.

— И даже очень, — ответила та с гордостью, с какой профессор демонстрирует успехи блестящего ученика.

Затем Бертран объяснил, что точно так же существует и два вида писателей: одни пишут лишь о себе, а другие способны изобразить всех представителей рода человеческого.

— Я вовсе не хочу сказать, что первые — посредственные авторы. К этому виду принадлежал, к примеру, Стендаль: он изображал того человека, каким являлся сам, человека, каким бы он хотел стать, каким бы он мог стать, если бы по воле судьбы появился на свет в семье банкира, или если бы ему довелось родиться женщиной, он изображал женщину, любви которой ему бы хотелось. Бальзак, напротив, — писатель-творец. Если пользоваться вашим выражением, Лоран, он мог «примерить на себя кожу» ростовщика, старой девы, привратницы, заговорщика, судьи...

— От себя Бальзак тоже брал довольно много, — возразил Кристиан. — Вот, к примеру, «Луи Ламбер», «Герцогиня де Ланже», «Лилия долины» или, в каком-то смысле, барон Юло д'Эрви...

— Разумеется, — ответил Бертран, — с какой стати ему было устранять себя из «Человеческой коме-

---

<sup>1</sup> См. примеч. на с. 74.

дии»? За собой он наблюдает, как и за всеми прочими, не больше...

В разговор вмешался юный Эрве Марсена и заговорил об «исходной точке», необходимой и для писателя, и для актера:

— Вы не находите, что сюжет или персонаж, созданные сознательно и обдуманно, на основе некоей отвлеченной идеи, никогда не удаются? Ничто не может заменить естественную безрассудность... Если у меня и есть претензия к вашим прекрасным пьесам, господин Менетрие, так это их излишняя рассудочность.

— Но меня никак нельзя назвать рассудочным человеком, — с досадой возразил Кристиан. — Эту репутацию мне создали враги.

— И мне тоже, — сердито сказал Леон Лоран. — Злобные критики говорят мне в лицо, что я «интеллектуальный» актер. Но это совсем не так. Когда я создаю образ, то не пытаюсь понять его рассудком. Я позволяю ему проникнуть в себя... Некоторые великие актеры, которых я знал, не понимали буквально ничего из того, что играли.

— И публика не замечала?

— Публика, — ответил Женни, — вообще никогда ничего не замечает... Театральная публика живет в нереальном мире, и, если в этот мир грубо не вторгается нечто непредвиденное, зрители принимают все.

— Так оно и есть, — согласился Леон Лоран. — Театральная иллюзия безгранична.

— Вот почему, — сказал Бертран Шмитт, — глупо придавать такое значение декорациям и постановке. Это веяние времени, причем совершенно бессмысленное... Вы не согласны? — обратился он к Долорес.

— О, — ответила та, — я в Париже для того, чтобы учиться, а не учить.

— Сегодня вечером я веду ее на «Подсвечник», — сказала Полина. — Она увидит, что такое перегибы в постановке.

После обеда Долорес беседовала с Леоном Лораном, который пообещал прийти к ней на спектакль; затем она поговорила с Эрве Марсена, у него она выведала все подробности статьи о «Театральном товариществе Анд», которую ему заказала Полина, затем завела разговор с Менетрие по поводу «Вивианы», и беседа сделалась такой оживленной, что обеспокоенная Клер, приблизившись к ним, с нажимом произнесла:

— Простите, Кристиан, что перебиваю вас, но в три часа у нас встреча на улице дю Бак, а это довольно далеко отсюда.

Как это всегда бывает, отъезд одной пары разрушил компанию, и все стали разъезжаться, выражая на прощание желание увидеть Долорес Гарсиа на сцене. Многие мужчины предложили проводить ее, но Полина задержала актрису, и женщины остались вдвоем.

— А теперь, — произнесла Долорес, — нам надо поговорить.

Решительным и грациозным жестом она бросила сигарету в камин.

— Идемте ко мне в кабинет, — сказала Полина, — не стоит разговаривать в гостиной.

Долорес последовала за ней.

## XII

В кабинете Полины Фонтен Долорес с любопытством разглядывала стопки бумаг, забытые книгами полки, а особенно фотографии на стенах. На них были Гийом и Полина: вот они в Египте, в Риме, затем, более молодые, в Толедо, еще моложе на пляже в купальниках.

— Да-да, — произнесла Полина трагическим тоном, — смотрите как следует... Вот двадцать пять лет счастья, которые вы разрушили.

— Я разрушила? — мягко возразила Долорес. — Вы ведь победили, Гийом уехал, только чтобы не встретиться со мной.

— Тот факт, что он уехал, как раз и доказывает, что он еще не выздоровел... Но даже если он и выздоровеет окончательно, ничто уже не будет таким, как прежде. Теперь между нами всегда будет стоять ваше лицо, ваше тело... Да-да, я смотрю на вас, это прелестное лицо, изящное тело, и думаю, что *мой* муж... Это ужасно!

Ее губы дрожали. Долорес нетерпеливо перебила ее:

— Если бы я могла поверить, что всегда буду стоять между вами, то была бы счастлива... Но, увы, надо мной тяготеет цыганское проклятие... Это всего лишь часть меня, причем худшая часть. Я не желаю вам зла, Полина, и никогда не желала. Разве я могла предположить, что вы с мужем — пара, для которой любовь значит больше всего на свете? Я никогда вас не видела, я представляла вас гораздо старше... Гийом всегда отзывался о вас с уважением, с любовью, но со мной он был так настойчив.

— А Петреску мне говорил, что это вы...

— Откуда он знает? Да, признаю, я хотела завоевать Фонтена. Мне нравилось, что он говорит, нравилась его любезность, скромность, его непосредственность: в нем я видела мужчину, который мог бы спасти меня от этой провинциальной жизни... Да, все это так. Но если бы я почувствовала сопротивление, то направила бы эту дружбу в другое русло...

Полина решительно наклонилась к Долорес:

— Ваши слова рассудочны и холодны! Вы разве не понимаете, что это был единственный человек на свете, который много значил для меня, мужчина, ради которого я пожертвовала всем? И вот появляетесь вы,

у которой есть все: молодость, красота, талант, и забираете его у меня безо всякой любви, его, который для меня дороже жизни... Вы считаете себя человеком набожным, Долорес, я видела, как вы стоите на коленях на полу церкви, и после того, как вы совершили кражу, это преступление, ваша совесть спокойна? Вы полагаете, что Бог отпустит вам грехи...

Долорес опустила на колени перед Полиной. Глаза ее были полны слез.

— Это все не так! — воскликнула она. — Я повторяю: я ничего о вас не знала. Вы говорите: *без любви*... Это не так. Эти три недели я любила Гийома. Вы, как никто другой, знаете, как можно его любить.

Полина пожала плечами:

— Я уверена, не успел он уехать, как вы изменили ему с Кастильо, а тем временем продолжали писать пылкие письма.

Долорес с болезненной гримасой закрыла глаза:

— Все это не так... Не так... Вы не понимаете... Для вас жизнь проста, Полина, и совсем другое дело я, обыкновенная девушка, которая с самого детства должна была бороться... Да, мне нужны мужчины, да, мне приходится терпеть их такими, каковы они есть... Но все равно в течение тех трех недель я любила Фонтена... Вы скажете: еще одна роль... Возможно, но я играла ее страстно, искренне... Я очень чувствительна, Гийом тоже...

— Ах, замолчите! — рыдая, воскликнула Полина.

Долорес, тоже плача, обняла ее. Прошло довольно много времени, прежде чем они обе успокоились, и Долорес доверчиво и ласково положила белокурую головку на колени Полины.

— Поймите меня, — прошептала она. — Вы выбрали жизнь уважаемую, ту, что принята в вашем окружении, вы посвятили себя одному мужчине, возможно, нашли в этом счастье, не знаю... Но есть и дру-

гая жизнь, свободная, беспокойная, полная страстей, ее выбрала я. Она дарует мгновения необыкновенного счастья, но еще и минуты глубокого отчаяния. Она менее... *cómo se dice?*.. менее благородна? Я так не думаю. Вы выбрали безопасность, а я риск. Раз десять в своей жизни я бросала все ради другого, неизвестного. В театре я имела успех в трагических ролях, но внезапно мне захотелось играть в комедиях... И в любви то же самое: однажды я бросила влиятельного покровителя, который мог обеспечить мое будущее, и вышла замуж за бедного, никому не известного актера... Клянусь вам... Мужчинам нравится такая опрометчивость. Они привязываются к женщине, которая способна на дерзкие поступки. Разве это моя вина?

— Только не думайте, что я никогда не рисковала, — возразила Полина. — Прежде чем стать женой Гийома, я была его любовницей, в то время он вообще не собирался жениться.

— Правда? О, я удивлена... Мне казалось, вы такая... буржуазная.

Она устремила восхищенный взгляд на Полину:

— Я люблю вас, Полина, вы мне верите, *no?*.. Люблю и восхищаюсь вами. Вы красивы, *querida*, да, вы красивы: такой чистый лоб и выразительные глаза... У вас блестящий ум, вы все умеете. Вчера вечером после прогулки по Парижу мы разговаривали о вас с подругами: «Какая удивительная женщина!» Вы способны на серьезные чувства и в этом, как мне кажется, превосходите Гийома... Да-да, позвольте мне договорить. Гийом умеет прекрасно рассуждать о любви, но он мужчина чувственный. Его вдохновляет тело, которое рядом с ним. Но он не знал... *cómo se dice?*.. всепоглощающей страсти. А вы, *querida*...

— Вы познакомились с Гийомом довольно поздно, — возразила Полина. — А я знала, каким страстным он бывает. Эти двадцать пять лет мы были близки и

счастливы. А потом им овладели эти демоны похоти, в которых я не верила, но, как вижу теперь, они, увы, и в самом деле терзают мужчин... И я проиграла...

Лолита возразила:

— Вы *не* проиграли, и вам это прекрасно известно. Вот только если вы хотите его сохранить, вам нужно быть не такой умелой... Не отрицайте. Защищать свою любовь вовсе не стыдно... Для Гийома вы по-прежнему прекрасный товарищ, но есть еще одна сторона его натуры, которой вы пренебрегаете... А я знаю... Умные, рассудочные женщины зачастую проигрывают в любовных играх. Мужчины устают от слишком умных женщин. Они с ними разговаривают, но... Когда мимо проходит красивая, чувственная девушка, они идут за ней... Да-да, Полина... *Eh hombre, en las mujeres, busca un poco de fiesta...* Мужчины ищут в женщинах немного праздника... *cómo se dice?*.. радости...

— Себя не преодолеть, — ответила Полина. — Если бы я попыталась изображать девочку, это было бы нелепо. Или пусть он любит меня такой, какая я есть, или все кончено.

— Ну конечно, *querida*... Только вам не кажется, что это справедливо в отношении вас обоих? Вы должны любить его таким, каков он есть, а я скажу вам: Гийом чувственный мужчина, он любит веселье, поэзию. Вы поэтичны, Полина, я уверена в этом, но вы... *cómo se dice?*.. держите это под спудом. Так говорят, *no?*

Полина, сама не замечая этого, гладила вьющиеся волосы Долорес, головка которой опять лежала у нее на коленях.

— И еще одно, — продолжала Лолита. — Вы можете быть жесткой, Полина. Очень жесткой. Я видела... Особенно в письмах... Не надо. К чему эта суровость? По какому праву? Все мы совершаем ошибки. Нужно стать более набожной. Увидев, как я молюсь, вы были

удивлены, потому что я нецеломудренна... И все-таки я христианка в большей степени, чем вы. Я пытаюсь быть милосердной... Да, это так. Пыталась с вами. А вы попытайтесь быть милосердной с Гийомом. Он человек творческий. В женщине, своей жене, он ищет тепло души... Все творческие люди эгоисты. Они и должны такими быть, чтобы защитить свое творчество. Если мы хотим их сохранить, мы должны быть скромными, должны уступить им все пространство. Поэтому актриса, которая соблазняет великих людей, быстро их теряет. Ведь она тоже человек творчества и хочет быть в центре внимания... Я, наверное, плохо сумела это выразить, *по?*

Полина какое-то время пребывала в задумчивости.

— Напротив, вы сказали очень хорошо... Да, вполне возможно, постарев, я сделалась жесткой, нетерпеливой, властной с Гийомом... Возможно, я не была с ним достаточно нежна. Но если он страдал от этого, почему мне не сказал?

— Они об этом никогда не говорят, — сказала Лолита, поднимаясь и поправляя перед зеркалом волосы. — Они никогда не говорят, но сердятся и начинают искать на стороне свою порцию счастья... Мы сами должны это почувствовать, а еще бороться. Вы напрасно, Полина, не закрашиваете седину и так мрачно одеваетесь... Вы могли бы выглядеть лет на десять моложе.

— Но Гийом любит черный цвет и даже однажды, когда мы были с ним откровенны, признался мне, что как-то в Лиме упрекнул вас за слишком яркое красное платье.

— Не помню. Может быть. Но я уверена, что когда он вспоминает обо мне, то думает о ярких красках... веселой тельняшке, вьющихся спутанных волосах. А ваши седые локоны слишком безупречны, *querida*, слишком аккуратны.

Она запустила руку в волосы Полины, слегка их растрепала, затем улыбнулась дружеской улыбкой.

— Пора идти в театр, — сказала она, — меня ждут. Но я рада, что поговорила с вами. Думаю, я вас люблю, Полина. Я ваша подруга. Мне кажется, я знаю вас всю жизнь. Вы мне верите, *по?*

Расставаясь, женщины обнялись.

### ХIII

Спектакли, которые «Театральное товарищество Анд» дало в Париже, с треском провалились. Репетиции шли мучительно. Декорации, разработанные для другого сценического пространства, приводили в недоумение французских рабочих сцены, их смена происходила слишком медленно, и антракты непомерно затягивались. Непривычная для актеров еда делала их слишком неповоротливыми. Кончита, а затем и Коринна пропускали репетиции. Тщетно Долорес пыталась объяснить труппе, как страстно желает покорить Париж. В день генеральной репетиции артисты чувствовали, что публика их не слушает, они пали духом, и их вялая игра парализовала даже Долорес.

Благодаря усилиям госпожи Фонтен появилось несколько хвалебных критических статей, прочие же критики с высокомерным презрением отзывались о спектакле, который был, по их мнению, слишком невнятным. Только Эрве Марсена, как было условлено, рассуждал о таланте Долорес Гарсиа, он обладал элементами здравого смысла, которого недоставало его собратьям. Что касается самой публики, она от суждений воздержалась. Испанская колония, разделившись во мнении, больше интересовалась политическими взглядами актеров, чем их талантом. Французские зрители, за исключением небольшого количества

говорящих по-испански, не понимали текста. Чтобы не играть при пустом зале, последние представления пришлось отменить.

Долорес Гарсиа испытывала мучительное разочарование. Она отправилась в Париж, как мусульманин отправляется в Мекку, а Париж не принял ее. Как горько! Некоторое время она пребывала в надежде, что может попробовать играть по-французски. Полина добилась, чтобы актрису принял Леон Лоран, прослушал в главной роли «Тессы» и дал несколько советов. Но он отнял у Долорес последнюю надежду.

— Вы прекрасная актриса, — сказал он. — Я видел вас в «Кровавой свадьбе», я знаю эту пьесу в переводе. Вы меня очень тронули... А я человек суровый... Вот только, хотя вы прекрасно говорите по-французски, акцент чувствуется. Едва заметный и даже очаровательный, он совершенно недопустим в театре, разве что в ролях, которые его оправдывают. Но таких слишком мало, и вы окажетесь в проигрышном положении. Моя консультация будет короткой: «Вам следует, хотя бы в течение года, брать уроки фонетики, или откажитесь от французской сцены».

Полине, которая попыталась было ее утешить, Долорес сказала:

— Но я же не могу опять поступить в школу... и как мне здесь жить?

— И что вы собираетесь делать?

— Испанский поэт, которого я очень люблю, зовет меня в Толедо. Он хочет, чтобы перед отъездом в Лиму я месяц пожила в его деревенском доме. Я там уже была. Там очень красивый пейзаж, мрачный, таинственный. Я соглашусь.

— Еще один сгорит в этом пламени! — вздохнула Полина.

Лолита попыталась ответить весело и непринужденно:

— Не беспокойтесь, он сам хочет сгореть... и потом, он живет один. Я никому не причиню горя.

На следующий день около полудня Полина позвонила в отель «Монталамбер». Ей ответили, что мадам Гарсиа утром улетела в Мадрид. Удивленная Полина позвонила в театр, где ничего не знали. Актриса просто исчезла, как призрак.

Госпожа Фонтен больше не слышала о Лолите, хотя был еще телефонный звонок от встревоженного Рамона де Мартина, который напрасно ждал ее в Толедо. Позже Полина узнала от молодого чилийского поэта, что Долорес, не останавливаясь в Мадриде, присоединилась к «Театральному товариществу Анд» в Сантандере и покинула Европу.

— Она была оскорблена, — сказал Пабло Санто-Кеведо. — Вы должны понять, ей не хотелось никого видеть.

Огорченная Полина сообщила об этом внезапном исчезновении мужу, который заканчивал курс лекций в Швейцарии. «Странная девушка! — писала она. — Уехала не прощаясь, не оставив следа, словно какое-то фантастическое существо... В нашей парижской жизни она мелькнула, словно блуждающий огонек, который вспыхивает на мгновение, танцует и гаснет...»

#### XIV

Два дня спустя Гийом Фонтен вернулся в Нёйи. Он чувствовал странное довольство собой, будто справился с почти непреодолимым искушением. Первые же рассказы Полины поразили его. Она беспрестанно расхваливала Лолиту, ее очарование, ее ум, ее добродетели.

— Ну да, Гийом, *ее добродетели*. В сущности, она ведь невиновна. Она сделала мне много добра, на многое открыла глаза. Теперь все будет по-другому.

Выйдя из сада, они, сами не понимая как, оказались на берегу маленького озера Сент-Джеймс. Идти было приятно. Полина, увлеченная беседой, говорила пылко и уверенно, Гийом слушал ее, испытывая удивительное счастье, отчасти оттого, что речь шла о Лолите, но в особенности потому, что он вновь видел перед собой давно потерянную Полину. Стоял прекрасный день поздней осени. В озерной воде отражалось чистое небо и неподвижные деревья. Фонтен остановился и поднял трость:

— Я не хочу, чтобы вы менялись, Полина. Я хочу вновь вернуть ту жизнь, которой мы жили до... э-э... этих событий.

— Я тоже. Но нельзя стереть из памяти кусок прошлого, впрочем, это было бы жалко. Я научилась принимать его целиком, это прошлое, и даже любить. Да, Гийом, я счастлива, что вы испытали это мимолетное счастье. Это счастье для вас, ведь вы сохраните о нем прекрасные воспоминания, но и для меня тоже, потому что я научилась вас уважать... Да, вы имеете право на уважение, Гийом, за то, что вы ее покорили, но главное — за то, что вы от нее отказались.

— А вы, Полина, преодолели свою суровость... Какое счастье вновь оказаться наедине с вами! Какова бы ни была красота, чувство, что вынуждает человека идти против самого себя, может лишь уничтожить его — и себя тоже.

Он остановился и долго смотрел на Полину, словно открывая ее для себя заново:

— Черт возьми, что с вами произошло, Полина? Вы помолодели.

— Это еще одно чудо Лолиты. Вы ничего не замечаете, нет? Тогда я не раскрою вам наш секрет... Я хочу обратиться к вам, Гийом, лишь с одной просьбой. Вам не кажется, что после стольких лет можно перестать говорить друг другу *вы*? Представьте себе, я всегда этого хотела, но поначалу чувствовала непреодо-

лимое сопротивление, мне казалось, это оттого, что вы постоянно думаете о Минни... А потом двадцать лет я просто не решалась... Но раз вы с самого первого дня позволили себе быть на «ты» с нашей прекрасной подругой...

— Ну разумеется, Полина, само собой. Начиная с этой минуты...

— Вы очень добры, — сказала она.

Он мягко поправил:

— «Ты»... Но боюсь, людей это удивит.

— Люди, — возразила она, — никогда ничего не замечают.

Мимо прошла молодая беременная женщина, держа под руку солдата. Полина проводила их долгим взглядом. Она казалась счастливой и умиротворенной.

«Я сошел с ума! — подумал Гийом. — Но возможно, это мое помешательство явилось для нас спасением от тоскливой старости».

Вслух он произнес:

— Если бы ты знала... Все это так просто... Я только пытался...

Их взгляды встретились.

По озеру проплыл лебедь.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая .....	5
Часть вторая .....	67
Часть третья .....	159

Литературно-художественное издание

АНДРЕ МОРУА  
СЕНТЯБРЬСКИЕ РОЗЫ

Ответственный редактор Галина Соловьева  
Редактор Лидия Миронова  
Художественный редактор Вадим Пожидаев  
Технический редактор Мария Антипова  
Компьютерная верстка Марии Антиповой  
Корректоры Лариса Ершова, Татьяна Бородулина  
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 11.05.2016. Формат издания 75 × 100 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 9,87. Заказ № 2917.

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4  
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге  
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А  
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»  
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93  
 [www.oaompk.ru](http://www.oaompk.ru), [www.oaompk.pf](http://www.oaompk.pf)  
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19  
E-mail: [sales@atticus-group.ru](mailto:sales@atticus-group.ru); [info@azbooka-m.ru](mailto:info@azbooka-m.ru)

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60  
E-mail: [trade@azbooka.spb.ru](mailto:trade@azbooka.spb.ru)

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: [sale@machaon.kiev.ua](mailto:sale@machaon.kiev.ua)

Информация о новинках и планах  
на сайтах: [www.azbooka.ru](http://www.azbooka.ru), [www.atticus-group.ru](http://www.atticus-group.ru)

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества  
размещена по адресу: [www.azbooka.ru/new\\_authors/](http://www.azbooka.ru/new_authors/)



YVAK1824603R

Андре Моруа, классик французской литературы XX века, автор знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др., считается подлинным мастером психологической прозы. Впервые на русском языке его поздний роман «Сентябрьские розы», который ни в чем не уступает полюбившимся русскому читателю книгам Моруа «Письма к незнакомке» и «Превратности судьбы». Автор вновь исследует тончайшие проявления человеческих страстей. Герой романа — знаменитый писатель Гийом Фонтен, чьими книгами зачитывается Франция. В его жизни, прекрасно отлаженной заботливой женой, все идет своим чередом. Ему недостает лишь чуда — чуда любви, благодаря которой осень жизни вновь становится весной.

Откровенные признания — совсем как женщины: те, которых мы слишком сильно желаем, избегают нас, а те, которых мы опасаемся, напротив, нас преследуют.

*А. Моруа*



В оформлении обложки  
использована картина  
Пьера Огюста Ренуара  
«Розы и жасмин  
в дельфетской вазе». 1880

ISBN 978-5-389-10218-7 03



9 785389 102187

[www.azbooka.ru](http://www.azbooka.ru)